

Жюль ПЭЙО
Воспитание воли
Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	2
I ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
Отдел I ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ Зло, с которым предстоит бороться: различные формы абулии (безволия) у учащихся и вообще у людей умственного труда	5
ГЛАВА ВТОРАЯ Какую цель мы должны себе поставить	13
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Опровержение ложных и безотрадных теорий относительно воспитания воли.....	17
Отдел II ПСИХОЛОГИЯ ВОЛИ.....	26
ГЛАВА ПЕРВАЯ Исследование роли идей в ряду элементов, образующих волю	26
ГЛАВА ВТОРАЯ Исследование роли эмоций	32
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Возможность владычества ума	44
Отдел III ВНУТРЕННИЕ СПОСОБЫ	58
ГЛАВА ПЕРВАЯ Сосредоточенное размышление	59
ГЛАВА ВТОРАЯ Что значит размышлять и как размышлять.....	81
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Значение действия в деле воспитания воли.....	85
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Физическая гигиена для учащейся молодежи по отношению к воспитанию воли	99
ГЛАВА ПЯТАЯ Общий взгляд.....	114
II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	116
Отдел IV ЧАСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ.....	116
ГЛАВА ПЕРВАЯ Враги, с которыми надо бороться: сентиментальность и чувственность	116
ГЛАВА ВТОРАЯ Враги, с которыми надо бороться: товарищи и проч.	136
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Враги, с которыми надо бороться: софизмы ленивых	140
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Размышления, укрепляющие волю. Радости труда	147
Отдел V Вспомогательные ресурсы, которые дает нам среда.....	153
ГЛАВА ПЕРВАЯ Общественное мнение, профессора и т.д.	153
ГЛАВА ВТОРАЯ Влияние «великих мертвецов»	162
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	164

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Всего удивительнее то, что и они сознают потребность в учителях и знаниях во всем остальном: там они прилагают известные старания; только науку жизни они не изучают и не хотят изучать».

Николь. *Discours sur la ne'cessite de ne pas se conduire au hasard*.

В XVII и в первой половине XVIII века над умами безраздельно царила религия. Вопросы воспитания воли не могли быть поставлены во всей своей широте: сил, которыми располагала католическая церковь — этот несравненный воспитатель характера, было достаточно, чтобы направлять жизнь верным в ее главных чертах.

Но в наше время для большинства мыслящих умов этого руководящего начала недостаточно. Другим оно не было заменено. И вот мы видим, что журналы, обзоры, отдельные книги, даже романы, — все в один голос оплакивают крайнюю слабость воли в наши времена.

Эта повальная болезнь воли создала своих врачей. Но, к несчастью, все эти врачеватели души пропитаны господствующими в психологии доктринами. В ряду элементов, составляющих волю, главную роль они приписывают уму. Они воображают, что если нам чего недостает, так это только какой-нибудь метафизической сверхчувственной теории.

Невежество этих господ вполне извинительно. В политической экономии признано законом, что культура земель начинается всегда с самых непроизводительных, но легчайших для обработки участков и затем уже переходит на почвы более плодородные, но требующие бóльшего труда и больших затрат для приведения их в культурное состояние. Этот закон вполне приложим и к области научной психологии. И здесь тоже начали с изучения явлений наименее сложных, наименее обильных важными последствиями в смысле их воздействия на наши поступки, и затем уже перешли к явлениям существенным, коренным, но требующим больше труда для своего уразумения. Только теперь начинают мало-помалу ясно сознавать, как ничтожно значение идеи в образовании характера и как безнадежно слабо ее влияние перед могуществом влечений. Воля есть сила, относящаяся к области чувства, и чтобы воздействовать на эту силу, всякая идея должна сперва окраситься страстью.

Если бы мы пристальнее изучали механизм воли, мы поняли бы, что метафизические теории тут ни при чем и что нет такого чувства, которое, будучи выбрано нами сознательно, не могло бы, при разумном применении наших психических ресурсов, стать руководящим началом всей нашей жизни. Скупец жертвует всеми физическими наслаждениями — плохо ест, спит на голых досках, живет без друзей, без удовольствий, одною любовью к деньгам: можно ли после этого отчаиваться в том, что, выбрав своим руководителем более высокое чувство, мы можем настолько укрепить его в нашем сознании, что оно будет направлять всю нашу жизнь? И если мы отчаиваемся, то только потому, что не знаем, как много и каких разнообразных средств дает нам психология для того, чтобы мы могли стать тем, чем хотим быть.

К несчастью, до сих пор наши ресурсы в этом отношении очень мало изучались. Руководящие европейские умы последнего тридцатилетия держались, в сущности, одной из двух теорий, представляющих чистейшее отрицание воспитания воли. Первая из этих теорий рассматривает характер как нечто неизменное, над чем мы не властны. Мы коснемся ниже этой ребяческой теории.

Вторая на первый взгляд подтверждает возможность воспитания воли. Это так называемая теория свободы воли. Стюарт Милль говорит даже, что эта доктрина поддерживала в своих последователях живое стремление к самосовершенствованию, к «развитию своей личности». Но, вопреки такому заявлению детерминиста, мы позволяем себе остаться при том мнении, что для идеи нравственного самоуправления теория свободы воли ничуть не менее опасна, чем ее предшественница, и в результате так же безотраднее. В самом деле, не привела ли она к тому, что на внутреннее освобождение личности стали смотреть, как на вещь легко достижимую и естественную, тогда как в действительности это такое дело, которое требует времени, больших усилий и очень близкого знакомства с нашими психическими ресурсами?

Благодаря именно своей простоте, эта теория сбила с толку много очень тонких, очень проницательных умов и отвлекла их от изучения элементов, обуславливающих волю. Она повредила этим изучению самой психологии и, скажем прямо, причинила человечеству непоправимое зло.

Вот почему мы и посвящаем эту книгу г-ну Рибо. Мы посвящаем ее Рибо не столько как нашему бывшему учителю, которому мы обязаны своей любовью к психологическим исследованиям, сколько как человеку инициативы,— тому, кто первый во Франции изгнал из психологии метафизику и первый, решительно откинув в сторону изучение сущности явлений сознания, занялся научным исследованием antecedентов и сопутствующих явлений интеллектуальных и волевых функций.

Такой метод, заметьте, отнюдь не отрицает метафизику: он не исключает психологию из метафизику, но только метафизику из психологии, а это не одно и то же. Он рассматривает психологию как науку. А цель ученого не в самом знании, а в том, чтобы предвидеть и действовать. Если для физика, например, не важно, что волнообразная теория света — не более как гипотеза, не подлежащая проверке, лишь бы эта гипотеза достигала цели, то не все ли равно и для психолога, может или не может быть доказана его гипотеза, например, гипотеза абсолютного соотношения нервных и психических состояний, коль скоро она достигает цели? Достигнуть намеченной цели, быть в состоянии предвидеть будущее, видоизменять явления по нашему желанию и, в результате, добиться того, чтобы будущее стало тем, чем мы хотим, чтоб оно было,— вот в чем задача ученого, а, следовательно, и психолога. Так по крайней мере мы понимаем нашу задачу.

Чтобы выполнить ее, мы должны были исследовать причины слабости воли в наше время. Мы пришли к убеждению, что против этой болезни есть

только одно лекарство и искать его надо в правильной культуре эмоций. Средства возбуждать или укреплять в себе чувствования, освобождающие нас от нравственного рабства, уничтожать или подавлять в себе чувствований, враждебные достижению власти над собой — вот подзаглавие, которое мы могли бы дать нашей книге. Ничего еще не сделано на этом пути, и мы несем нашу долю усилий на пользу этого дела первостепенной важности.

Вместо того, чтобы трактовать о воспитании воли *in abstracto*, мы взяли главной темой своей книги воспитание воли, поскольку оно нужно для продолжительного и упорного умственного труда. Мы убеждены, что студенты и вообще все, кто занимается умственным трудом, найдут в ней весьма полезные указания.

Мне часто приходилось слышать жалобы молодежи на отсутствие метода, которым достигалась бы власть над собой. Я предлагаю им выводы, которыми обогатили меня мои четырехлетние исследования и размышления по этому вопросу.

Жюль Пэйо.

I

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Зло, с которым предстоит бороться: различные формы абулии (безволия) у учащихся и вообще у людей умственного труда

Калигула желал, чтоб у римлян была одна голова, потому что тогда он мог бы обезглавить их всех разом. Нам незачем высказывать такое желание относительно врагов, с которыми нам приходится бороться. Почти все наши неудачи, почти все наши беды сводятся к одной причине, и причина эта — слабость нашей воли, страх перед всяким усилием, в особенности перед усилием продолжительным. Наша пассивность, наша легковесность, наша разбросанность — все это лишь разные названия для обозначения той закваски общераспространенной лени, которая для человеческой натуры есть то же, что тяжесть для тела.

Ясно, что только постоянная сила может успешно противостоять упорному напряжению воли. Страсть по природе своей скоротечна; чем страсть сильнее, тем меньше она длится: ее перемежающийся характер не позволяет нам считаться с ней, как с постоянным врагом, за исключением очень редких случаев, когда она приобретает упорство и силу, граничащие с сумасшествием, и становится действительной помехой продолжительному усилию воли. Промежутки между приступами страсти оставляют много места труду. Страшна не страсть, страшно то основное, присущее нам состояние духа, которое никогда не прерывается и которое зовется вялостью, апатией, ленью, праздностью. Частое возобновление усилий воли в этом случае будет лишь постоянным возобновлением борьбы против этого присущего нам естественного состояния — борьбы, которая никогда не приведет к решительной победе.

Мы говорим: основное, естественное состояние. В самом деле, ведь только гнет необходимости заставляет человека прибегать к продолжительному усилию. Все путешественники говорят в один голос, что у всех нецивилизованных народов замечается абсолютная неспособность к настойчивому усилию. Рибо весьма основательно предполагает, что первое усилие произвольного внимания было сделано женщинами, которые должны были, под страхом побоев, нести правильный труд, пока их повелители почивали и кейфовали. А краснокожие? Разве не исчезают они с лица земли почти на наших глазах, покоряясь притеснениям, постепенно вымирая и не

делая никаких попыток перейти к правильно-организованному труду, который дал бы им полную возможность существовать?

Но зачем так далеко ходить за примерами, которые всем известны? Кто не знает, с какими усилиями приневоливает себя ребенок к регулярному труду? Кто не знает, как редки у нас крестьяне и рабочие, которые пытались бы изыскивать в своей работе новые и лучшие приемы, которые старались бы делать свое дело лучше, чем делали его до них и делают их соседи? Попробуйте вместе со Спенсером перебрать в своей памяти различные вещи домашнего обихода, которые служат вам в течение дня: вы не найдете ни одной, которую с помощью легкого усилия мысли нельзя было бы лучше приспособить для ее теперешнего назначения, и вместе со Спенсером вы скажете: «право, можно подумать, что большинство людей задается целью прожить жизнь так, чтобы потратить как можно меньше мысли».

Пусть каждый из нас обратится к своим студенческим воспоминаниям: много ли настоящих работников насчитывает он между своими товарищами? Разве не все они почти поголовно прилагают минимум усилий, необходимых для сдачи экзаменов? Да начиная со школьной скамьи с каким трудом дается им усилие самостоятельной мысли! Повсюду, во всех странах они справляются со своими экзаменами с помощью простого усилия памяти. Понятно, что идеалы их не могут быть высоки. Все, чего они желают, чего добиваются, как превосходно выражает это автор «*L'education bourgeoise*», говоря о нашем отечестве, это — «места чиновников, — места, которые плохо оплачиваются, не дают человеку ни уважения, ни будущности, не открывают перед ним никаких горизонтов, где он старится, не сходя с кожаного сиденья своего рабочего стула, где, вращаясь в пустоте своих ежедневных бесплодных занятий, он изо дня в день сам же содействует постепенному ослаблению своих способностей, своему отупению, но где, взамен этого, он обретает неизреченную усладу чувствовать себя свободным от необходимости думать, хотеть и действовать. Опека регламентации... придает его деятельности характер правильного движения часового механизма и избавляет его от почетного, но утомительного преимущества действовать и жить».

Не следует, впрочем, сваливать всю вину на чиновничество. Никакое ремесло, никакая профессия, как бы ни были они возвышенны, недостаточны сами по себе, чтоб оградить личность, чтобы сохранить в целости ее силу и энергию. В первые годы ум еще находит материал для деятельного упражнения. Но вскоре число новых комбинаций, число и возможность случаев, которые вызывали бы усилие мысли и способности к исследованию, начинают уменьшаться. Отправление самых высоких обязанностей, требующее по-видимому огромных интеллектуальных усилий, становится с годами чисто делом привычки. Адвокат, судья, медик, профессор живут на благоприобретенный капитал, который уже больше не нарастает, а если и нарастает, то лишь в очень редких случаях и медленно. Из года в год усилие ослабевает, из года в год уменьшается число случаев для приложения высших способностей ума. Отныне колея пробита; ум притупляется за недостатком упражнения, а с ним притупляется внимание, слабеет сила суждения мысли.

И если наряду со своей профессией человек не создаст себе особого порядка умственных интересов, ему не избежать этого постепенного притупления энергии.

Но наша книга относится главным образом к учащимся и вообще к людям умственного труда; поэтому необходимо рассмотреть поближе, какие формы принимает у них «зло, с которым им предстоит бороться».

Самая серьезная форма этой болезни у студентов — это атония, «душевная вялость», проглядывающая во всех поступках молодого человека. Каждый день он спит на несколько часов больше, чем следует, просыпается сонный, ленивый, нехотя, зевая, принимается за своей туалет И проводит за ним много времени. Ему «не по себе», не хочется приниматься ни за какую работу. За что бы он ни взялся, он все делает «холодно, апатично, лениво». Ленинь проступает даже у него на лице, на нем можно прочесть скуку, истому; выражение какое-то неопределенное: вялое и вместе с тем озабоченное. Ни силы, ни отчетливости в движениях. Потеряв целое утро, он идет завтракать; в кафе он читает газеты от доски до доски, не пропуская даже объявлений, потому что это занимает внимание, не требуя усилий. Правда, после завтрака энергия до некоторой степени возвращается к нему, но он тратит ее на болтовню, на бесплодные споры и в особенности — ленивый человек всегда завистлив — на злословие: политики, литераторы, профессора — всем достается. Вечером несчастный ложится в постель раздраженный, с чуть-чуть усилившейся против вчерашнего дозой озлобления, ибо эта атония, которую он вносит в свой труд, он вносит ее в большинстве случаев и в свои развлечения: никакая радость не дается нам без труда; всякое удовольствие предполагает известное усилие. Прочесть книгу, осмотреть музей, сделать загородную прогулку — все эти удовольствия требуют инициативы, все это удовольствия активные. А как с другой стороны активные удовольствия — единственные, которые могут идти в счет, которые можно возобновлять до бесконечности и по произволу, то ленивый обрекает себя на самую бессодержательную жизнь, какую только можно вообразить. У ленивых людей удовольствие проходит, так сказать, между пальцев, потому что им лень сжать руку, чтоб его удержать. Сен-Жером сравнивает их в шутку с солдатами на картинках, у которых сабли всегда подняты и никогда не наносят удара.

Основная лень ничуть не исключает минутных вспышек энергии. Дикие, нецивилизованные народы боятся не чрезмерного напряжения сил, а правильно организованного, непрерывного труда, который в результате поглощает гораздо больше энергии; постоянное, хотя бы даже небольшое, расходование энергии истощает в конце концов сильнее, чем крупные затраты, отделенные одна от другой длинными промежутками отдыха. Ленивый прекрасно переносит войну с ее моментами усиленного напряжения энергии, за которыми следуют долгие периоды бездействия. Арабы завоевали целое государство. Они не удержали его за собой, потому что им не доставало постоянства энергии, необходимой для того, чтоб организовать администрацию страны, создать дороги, школы и промышленность. То же

можно сказать и о ленивых студентах: подгоняемые приближением экзаменов, почти все они умеют себя «пришпорить». Им претит только постоянное усилие, хотя бы и умеренное, но которое надо повторять изо дня в день месяцы и годы.

Только в таком усилии, умеренном, но непрерывном, и живет истинная плодотворная энергия; это до такой степени верно, что всякий труд, раз он удаляется от этого типа, может считаться ленивым трудом. Само собою разумеется, что непрерывный труд подразумевает постоянство направления, ибо энергичная воля выражается не столько в часто повторяемом усилии, сколько в том, чтобы все силы ума были направлены к одной и той же цели. Вот, например, очень распространенный тип ленивца. Перед нами молодой человек живого нрава, веселый, энергичный. Почти всегда он чем-нибудь занят. Чего только он не переделает за день! Прочтет трактат по геологии, статью Брюнетьера о Расине, пробежит несколько газет, перечтет какие-нибудь записки, набросает план диссертации, переведет несколько страниц с английского. Ни секунды не остается он праздным. Товарищи удивляются его способности к труду и разнообразию его занятий. И все-таки мы должны заклеить этого молодого человека названием лентяя. С точки зрения психолога, такая многосложность занятий указывает только на довольно богатый запас самопроизвольного внимания, которое однако не перешло еще в произвольное. Эта воображаемая сила — способность разнообразить свой труд — свидетельствует лишь о крайней слабости воли, к вышеописанном студенте мы видим очень обыкновенный тип ленивца, который мы назовем разбросанным типом. Такая «прогулка ума», конечно, приятна, но это увеселительная прогулка — не больше. «*Esprits de mouche*» — так называет Николь таких работников, которые разбрасываются во все стороны без пользы. По образному выражению Фенелона, они «как зажженная свеча, которую задувает ветром».

Главное неудобство такой разбросанности усилий в том, что ни одно впечатление не успевает закончиться. Пока идеи и чувства заходят в наше сознание лишь мимоходом, вроде того, как останавливается в гостинице проезжий, они остаются для нас незнакомцами, которых мы скоро забудем: таков, можно сказать, непреложный закон умственного труда. В следующей главе мы увидим, что настоящий умственный труд предполагает сосредоточение всех усилий в одном направлении.

Этот страх перед настоящим усилием, т. е. перед необходимостью координировать все отдельные усилия для достижения одной определенной цели, осложняется не менее сильным страхом перед усилием самостоятельной мысли. Действительно, одно дело — творить самобытно, работать над изобретением, располагать материалы по своему плану, и другое — складывать в своей памяти уже заготовленный материал. Впрочем, усилие самостоятельной мысли потому так и трудно, что оно необходимо подразумевает координацию. Во всяком творческом труде две высшие формы умственного труда связаны неразрывно. Оттого-то этот труд и не нравится так огромному большинству учащейся молодежи, которая однако не сегодня-

завтра станет «правлящим классом». Взять хоть воспитанников философских классов: все это хорошие ученики; близость выпускного экзамена поддерживает в них энергию. Они трудолюбивы и, говоря вообще, исполнительны в работе. Но, к сожалению, они совсем не думают. Их умственная лень выражается в присущей им склонности думать словами, в пределах слов — не дальше. Изучают они, например, психологию, и ни одному,— совершенно как Мольеровскому Журдену, — не придет в голову, что он говорит прозой, т. е. занимается приложением психологии всю свою жизнь, с самого рождения, и что было бы несравненно проще порыться в себе самом и подыскать личные примеры, чем запоминать примеры из книги. Но нет, у них непобедимая страсть заучивать, они не любят искать. Огромный излишек материала, которым им придется при этом загромождать свою память, пугает их меньше, чем самое легкое усилие самостоятельной мысли. Повсюду и все они пассивны, за некоторыми исключениями, конечно, очень редкими, в лице немногих избранных.

Конкурсные четвертные испытание на место первого ученика дают нам наглядное доказательство этой неспособности к усилию самостоятельной мысли. Большинство учащихся боится этих испытаний. Конечно, тут нет и речи о самостоятельном исследовании; по большей части бывает нужно просто-напросто распределить по новому плану уже готовый, накопленный в течение курса материал и придать своему изложению некоторую ясность, тот *lucidus ordo*, которого требует учитель; но даже и такая работа для них положительно неприятна.

Само собою разумеется, что этот страх перед самостоятельным трудом переносится и в университеты, и притом без большого для себя ущерба: на экзаменах ведь не спрашивают, что представляет из себя кандидат, как велик его умственный багаж, а только исследуют состояние его памяти, уровень его познаний, т. е. много ли он выучил? Каждый добросовестный студент, если он даст себе труд немножко поразмыслить, сознается в душе, что в течение его годичных занятий медициной, юриспруденцией, естественными науками или историей сумма его интеллектуальных усилий, которые бы не были усилиями памяти, бывает очень мала.

Любопытно проследить, какие неуловимые формы может принимать лень даже у ученых. Понятно, что этот вид лени отнюдь не исключает усиленного труда, большого, сложного дела, ибо количество здесь не возмещает качества. Скажем больше: количество труда часто вредит его качеству. Пример: немецкие эрудиты, которые так любят смеяться над нами. Как кошка в басне, они таскают из огня каштаны, а мы их едим. Сравнение кажется нам очень метким. *Raton* — это олицетворение кропотливого труда — труда эрудитов.

...*Raton avec sa patte,*

D'une maniere delicate,

Ecarte un peu la cendre et retire les doigts;

Puis les reporte a plusieurs fois;

Tire un marron, puis deux, et puis troisen escroque...!.

Действительно, это такая работа, которую можно делать без конца с какими угодно перерывами. Ум постоянно опирается на готовые тексты, ему не приходится создавать, и он может работать с успехом даже тогда, когда острие его проницательности уже притупилось. Время, конечно, не замедлит подтвердить предсказания Ренана относительно науки как продукта чистой эрудиции. Такая наука не имеет будущности. Ее выводы слишком преждевременны, слишком спорны; к тому же через каких-нибудь пятьдесят лет двадцать тысяч томов, поступающих ежегодно в национальную библиотеку, не считая газет и других периодических изданий, увеличат на миллион томов цифру существующих книг. Миллион томов! Если принять среднюю толщину каждого тома в два сантиметра, выйдет кипа книг в четыре раза выше Монблана. Не очевидно ли, что по мере того, как история будет освобождаться от имен собственных и все больше и больше останавливаться на крупных социальных явлениях, все еще весьма гипотетичных в своих причинах и следствиях, чистая эрудиция, задавленная чудовищной грудой накопившихся материалов, будет терять свой авторитет для мыслящих умов? Чем дальше, тем меньше на труд накопления фактов будут смотреть как на труд. В конце концов эта кропотливая черная работа получит свое настоящее имя черной работы. Трудом будут называть исключитель-но работу мысли, удаление ненужных подробностей, ту концентрацию умственных сил, какую создает высшее усилие мысли. В самом деле, создавать — значит доискиваться сущности явления, уметь обрисовать его в главных, выдающихся чертах и дать ему полное освещение, «Побочные», ненужные подробности только искажают истину и на опытный глаз показывают лишь то, что в чистое русло энергичного и сильного ума просочились мутные струйки присущей нам основной неискоренимой лени.

К сожалению, нельзя не сказать, что вся наша система преподавания построена так, что только усугубляет эту основную умственную лень. Программы средних учебных заведений как будто задаются целью делать из учащихся то, что мы называли разбросанным типом. Несчастливым юношам приходится поглощать такую массу разнородного материала, что они поневоле должны хватать вершки, не имея возможности проникать до сути вещей. Где же молодому человеку додуматься, что наша современная система среднего образования нелепа с начала до конца? А между тем она убивает в учащихся дух инициативы и всякое поползновение на добросовестность в труде.

Несколько лет тому назад наша артиллерия была очень слаба; теперь ее силы удесятились. А отчего? Оттого, что прежде снаряд, ударившись о препятствие, тут же и разрывался, не нанося большого вреда. Теперь же, благодаря изобретению детонатора, снаряд продолжает подвигаться вперед еще несколько секунд после удара: он проникает вглубь и, стиснутый со всех сторон, разрывается внутри препятствия и разносит его на куски. В нашем современном воспитании ум учащегося юношества забыли снабдить детонатором. Приобретенным познаниям никогда не дают проникнуть в

глубину. «Ты хочешь остановиться? Вперед! Вперед!» — «Но я не усвоил еще хорошенько прочитанного: впечатления, мысли, которые вызвала во мне эта книга, едва только начали укладываться в моем уме...» «Вперед! Вперед! Как новый вечный жид, ты должен идти без конца, никогда не отдыхая; ты должен пройти математику, физику, химию, зоологию, ботанику, геологию, историю всех народов, географию пяти частей света, два живых языка, несколько литератур, психологию, логику, этику, метафизику, историю философских систем... Вперед, все вперед, прямой дорогой к посредственности! Выноси из своего лица или гимназии привычку судить обо всем поверхностно, не углубляясь в суть дела».

Эта головоломная скачка не прекратится и в университете, а для большинства студентов даже еще ускорится.

Прибавьте к этому условия современной жизни; благодаря этим условиям наша внутренняя жизнь свелась почти на нет, а умственная разбросанность достигла той грани, дальше которой едва ли может идти. Легкость сообщений, путешествия, частые переезды с места на место морем и сушей развлекают нашу мысль. Становится почти некогда даже читать. Жизнь полна впечатлений и в то же время пуста. Искусственное умственное возбуждение, которое дает нам газета, легкость, с какою занимают наше внимание всевозможные известия со всех концов света, делают то, что для большинства из нас прочесть книгу представляется делом неинтересным и скучным.

И как бороться с умственной разбросанностью, которую порождает среда, когда ничто в нашем воспитании не дает нам подготовки для этой борьбы? Не ужасно ли, что такое капитальное дело, как воспитание воли, нигде не предпринимается смело, сознательно? Все, что ни делается в этом направлении, делается в виду какой-нибудь побочной цели: мы заботимся только о том, чтобы наполнить, загромождать ум; волю же воспитываем лишь в той мере, в какой она нужна для умственного труда — да что я говорю, воспитываем! — не воспитываем, а возбуждаем ее — вот и все. Мы думаем только о настоящем. Сегодня у нас целая система репрессивных и понудительных мер: порицание учителя, насмешки товарищей, наказания — с одной стороны; похвалы и награды — с другой. Завтра — ничего, кроме отдаленной, неясной перспективы экзамена на кандидата прав, на доктора медицины, а эту трудность преодолевают самые ленивые. На воспитание воли смотрят так: вывезет кривая — хорошо, а нет — не беда. А между тем, что же, если не энергия, делает человека вполне человеком? Разве самые блестящие духовные дары не остаются без нее мертвыми, бесплодными? И не она ли была главным двигателем во всем, что сделал человек великого и прекрасного?

Странная вещь! Каждый говорит себе мысленно то, что говорим мы на этих страницах. Все страдают от этой несоразмерности усиленной культуры ума со слабостью воли. Но до сих пор не появилось ни одной книги, которая научила бы нас воспитывать волю. Мы не умеем сами взяться за дело, которого наши наставники не наметили нам даже в общих чертах: мы не

знаем, как к нему приступить. Выберите наудачу десять человек студентов из заведомых лентяев и поговорите с ними; вот, в коротких словах, что они нам скажут: «Прежде, в лицее, учителя задавали уроки, наш день был распределен по часам, в каждую данную минуту не знали, что нам делать. Порядок занятий был точный, определенный: выучить такую-то главу из истории, такую-то геометрическую теорему, решить такую-то задачу, перевести такой-то отрывок. Кроме того, там нам помогали, нас поощряли или школили, соревнование поддерживалось рьяно и искусно. Теперь совсем не то. Никакой определенной урочной работы. Мы располагаем нашим временем совершенно свободно. А так как у нас никогда не было инициативы в распределении наших занятий, так как при этом нам не дали никакой системы, которая поддерживала бы нас в нашей слабости, то мы очутились в положении человека, которого сначала учили плавать, заботливо надевая на него всякий раз тройной пробковый пояс, а потом бросили в воду нагишом. Понятно, что мы тонем. Мы не умеем ни работать, ни хотеть. Мало того, мы не знаем, где нам научиться, что надо делать, чтобы воспитать в себе волю. Практических книг по этому предмету у нас не имеется. И мы покоряемся, складываем оружие и стараемся не думать. Это очень печально. Правда, у нас есть пивные, кафе и товарищи, с которыми не скучно. Гак или иначе время все-таки проходит».

Вот эту-то книгу, на отсутствие которой так часто жалуется молодежь, мы и попробовали теперь написать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Какую цель мы должны себе поставить

Хотя наши учебные программы совершенно игнорируют волю ребенка и юноши, каждый из нас все-таки чувствует, что все значение человека — в его энергии, что человек со слабой волей ни на что не годен и вся цена ему грош. А так как в то же время мы знаем, что сила нашей воли может быть приблизительно измерена интенсивностью нашего труда, то и не стесняемся в выборе средств, чтобы поднять себе цену с этой стороны. Мы преувеличиваем количество труда, который мы несем. Нам ничего не стоит уверить человека, что мы поднимаемся в четыре часа утра: мы ведь знаем, что никто не придет проверять наши рассказы. А попробуйте зайти к такому мученику труда часов в восемь: вы застанете его в постели, и если вы не поленитесь повторить ваш опыт несколько раз, то без труда убедитесь, что по какому-то странному стечению обстоятельств каждый из ваших редких визитов непременно совпадет с какой-нибудь несчастной случайностью: всякий раз вы узнаете, что приятель ваш был накануне в театре или на вечеринке, чем только объясняется, что он не

поднялся с петухами и не сидит за работой. А тем временем этот труженик, этот добровольный каторжник проваливается на экзаменах.

Нет другой темы, по поводу которой была бы так сильно распространена ложь между учащейся молодежью.

Мало того, нет молодого человека, который не лгал бы себе самому, не создавал бы грандиозных иллюзий на счет количества своего труда и своей способности к усилию. Но что же такое вся эта ложь, как не косвенное признание той великой истины, что все значение человека — в его энергии?

Всякое сомнение со стороны окружающих в силе нашего характера жестоко нас оскорбляет.

А оспаривать нашу способность к труду — не значит ли это обвинять нас в слабости, в малодушии? Считать нас неспособными к тому постоянству усилия, без которого человек должен отказаться от всякой надежды возвыситься над умственным убожеством большинства людей, наводняющих так называемые свободные профессии, — не значит ли это поставить нас в ряды безнадежной посредственности?

Эта невольная дань уважения, воздаваемая труду молодежью, доказывает только, что в учащемся юношестве живет желание быть энергичным. И книга наша есть ничего больше, как разбор тех способов и средств, к каким должен прибегать молодой человек с неустановившимися наклонностями, если он хочет, чтобы простое желание трудиться окрепло в нем и выросло сначала до степени твердой, горячей и ПРОЧНОЙ решимости, а под конец обратилось бы в несокрушимую привычку — вторую натуру.

Но прежде всего: умственный труд бывает двоякого рода. Он состоит или в изучении готового материала — явлений природы, произведений чужого ума,

или же в личном, самостоятельном творчестве. В основе творческого труда лежит изучение: он совмещает в себе все виды интеллектуальных усилий. В первом случае орудием труда будет внимание в собственном смысле, во втором — размышление или самососредоточение. Но и в том, и в другом случае суть дела сводится все-таки ко вниманию. Итак, трудиться — значит напрягать внимание. К несчастью, внимание не принадлежит к числу состояний устойчивых, длящихся, неподвижных. Его нельзя сравнить с туго натянутым луком, где напряжение непрерывно. Оно состоит скорее из целого ряда повторяющихся усилий, из отдельных моментов более или менее сильного напряжения, с большей или меньшей скоростью следующих один за другим. Когда напряженное, энергичное внимание сделалось для нас привычным, эти усилия так близко следуют одно за другим, что дают нам иллюзию непрерывности, и эта кажущаяся непрерывность может длиться по несколько часов ежедневно.

Итак, выработать в себе способность к энергичному и продолжительному усилию внимания — вот цель, которую мы должны себе поставить. Добиться того, чтобы изо дня в день, неуклонно и мужественно, возобновлять известный ряд усилий — вот, без сомнения, один из великолепнейших результатов, к каким только может привести сознательная работа над собой, выработка власти над своим «я», ибо для учащейся молодежи, в массе, такие усилия всегда тягостны. Пылкая юность неудержимо влечет их за собой и делает то, что животная жизнь легко берет в них перевес над той, на первый взгляд холодной, бесцветной и противоестественной жизнью, какою живет большинство работников мысли.

Но одного усилия еще недостаточно: самые энергичные и продолжительные усилия могут быть разбросаны, беспорядочны. Итак, чтобы достигались результаты, усилия, сверх всего прочего, должны быть еще направлены к одной и той же цели. Для того, чтобы какая-нибудь идея или чувство укрепились, натурализировались в нашем сознании, необходимы известные условия — условия места, где живет человек, его обстановки, окружающей среды. Необходимо, чтобы эта идея, это чувство, путем медленного, постоянно прогрессирующего взаимодействия с другими идеями, постепенно расширяла круг своего влияния, отвоевывала бы себе мало-помалу свое настоящее место. Посмотрите, как создаются художественные произведения. У гения рождается мысль, часто в ранней молодости; мысль эта живет в нем, сначала робкая и неясная. Прочитанная книга, какой-нибудь случай из личной жизни, удачное выражение, брошенное мимоходом каким-нибудь писателем, который набрел на ту же мысль, но, поглощенный другими интересами или не подготовленный к такому порядку идей, не оценил ее плодотворности, дают гениальной, еще не оперившейся мысли сознание ее истинной ценности и той роли, какую она может играть в будущем. С этой минуты она находит себе пищу во всем. Путешествия, разговоры, чтение доставляют ей усваиваемый материал, который ее питает; и мысль растет и крепнет. Так, Гете в течение тридцати лет вынашивал свою идею «Фауста». Все это время она в нем зрела, росла,

пускала корни все глубже и глубже и черпала из наблюдений и опыта своего творца те жизненные питательные соки, которыми так обильно это гениальное творение.

То же, в большем или в меньшем масштабе, бывает и со всякой плодотворной идеей. Если мысль только мельком проходит в нашем сознании, ее все равно что и нет: она умрет, не оставив следа. Нужно уделять ей много внимания и отнюдь не бросать ее на произвол судьбы, для того, чтоб она могла начать жить самостоятельно, чтоб она сделалась центром нашего душевного строя. Нужно долго хранить ее в нашем сознании, возвращаться к ней часто и с любовью: тогда она приобретет необходимую ей жизненность, тогда-то с помощью таинственной магнетической силы, которая зовется ассоциацией идей, она притянет к себе другие плодотворные мысли, могучие чувства, и сольется с ними в одно неразрывное целое. Эта работа развития идеи или чувства совершается медленно, путем спокойного и терпеливого размышления. Развитие мысли можно сравнить с искусственным образованием кристаллов: кристалл для своего образования требует абсолютно спокойной жидкой среды и медленного, правильного отложения миллионов частиц. Вот в это-то смысле всякое открытие можно назвать результатом усилия воли. Ньютон мог проверить свое открытие всемирного тяготения только благодаря тому, что он «постоянно думал о нем». Тех, кто еще может сомневаться в той истине, что гений есть не что иное, как «долгое терпение», мы отсылаем к исповеди Дарвина. «Для чтения и для размышления я выбирал только то, что имело прямую связь с виденным мною или с тем, что я по всей вероятности должен был увидеть, и что таким образом заставляло меня думать в этом направлении... и я убежден, что эта-то дисциплина и дала мне возможность сделать в науке то, что я сделал». А сын его прибавляет: «Мой отец обладал способностью, не терять из вида предмета в течение многих лет».

Однако довольно. Что пользы доказывать такую очевидную истину? Повторим вкратце то, что мы говорили. Итак, целью усилий человека умственного труда, работника мысли, должно быть достижение энергии произвольного внимания, — энергии, выражающейся не в одной только напряженности, не в одном только частом повторении усилий внимания, но еще и в особенности в том, чтобы все его мысли, не уклоняясь в сторону ни на йоту, направлялись к одной и той же цели и чтобы в течение определенного нужного для этого срока все его чувства, хотения, помышления подчинялись главной, руководящей, направляющей идее, для которой он трудился, которой он служит. Это идеал, от которого лень человеческая всегда будет нас удалять, но который мы должны стремиться осуществить с возможной для нас полнотой.

Прежде чем перейти к обстоятельному исследованию вопроса о том, с помощью каких средств мы можем содействовать перерождению в нас слабого, неясного желания в твердую и прочную решимость, необходимо разделаться с двумя философскими теориями, противоположными по мысли, но одинаково пагубными для идеи нравственного самоуправления.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Опровержение ложных и безотрадных теорий относительно воспитания воли

1. Полемика должна быть всегда лишь подготовительной работой, которую автор должен делать старательно, но до времени хранить про себя. Нет ничего бессильнее чистого отрицания: критика никого не убеждает; чтоб убедить, надо не старое разрушать, а созидать вновь.

И потому-то именно, что книга наша вся сплошь представляет труд конструктивный, что она дает доктрину более здравую, а главное более основательно подкрепленную неопровержимыми выводами, к которым приводит нас психология, — потому только мы и выступаем здесь с прямыми нападками против двух весьма распространенных теорий, столько же плачевных по своим практическим результатам, сколько ложных и в самой идее.

В высочайшей мере фальшива по существу и печальна по своим практическим последствиям теория, рассматривающая характер, как нечто неизменное. Измышленная Кантом, воскрешенная Шопенгауэром, эта гипотеза имеет за себя поддержку Спенсера.

По Канту, человек берет свой характер в мире ноуменов, и выбор этот впредь уже не может быть изменен. Раз мы «спустились» в мире времени и пространства, наш характер, а следовательно, и наша воля остаются тем, что они есть, и мы не властны изменить в них ни одной черточки.

Шопенгауэр тоже утверждает, что характер рождается вместе с человеком и не может быть изменен. Мы не можем изменить род побуждений, которым подчиняется, например, воля эгоиста. Путем систематического воспитания мы можем обмануть эгоиста, лучшее сказать, усовершенствовать его понятия, привести его к пониманию того, что честностью и трудом благосостояние достигается вернее, чем мошенничеством и обманом. Но смягчить его душу, сделать его чувствительным к страданию ближнего — об этом нечего и мечтать, это невозможно, гораздо более невозможно, чем переделать свинец в золото. «Эгоиста можно заставить понять, что, пожертвовав маленькой выгодой, он этим самым обеспечивает за собой гораздо большую; злого человека можно заставить понять, что, причиняя страдание ближнему, он навлекает на себя еще большее страдание. Но убить эгоизм или злость в самом корне — немыслимо, невозможно; так же невозможно, как убедить кошку, чтоб она не ела мышей».

Герберт Спенсер, хотя и с совершенно другой точки зрения, допускает вместе с английской школой, что характер может меняться с течением времени под давлением внешних влияний, условий жизни и пр.; но для своего завершения такая перемена требует столетий. Таким образом, практически и эта теория оказывается безнадежной: ведь не могу же я рассчитывать на десять веков жизни для своих научных занятий, а всего лишь на каких-нибудь двадцать лет, т. е. на такой срок, пока мой характер еще не утратил пластичности. Я ничего не могу сделать для моего нравственного

самоусовершенствования, как бы страстно я этого ни хотел. Я не могу бороться с моим характером — наследием, завещанным мне предками и представляющим результаты тысячелетнего, быть может, тысячу тысячелетнего опыта, органически запечатлевшиеся в моем мозгу. Что же мне делать со всем этим полчищем предков, вступивших в грозный союз против моей слабой личной воли, если я захочу освободиться от какой-нибудь части переданного мне ими наследства? Всякая попытка к восстанию с моей стороны будет чистейшим безумием: можно быть заранее уверенным в поражении. Впрочем, я могу утешать себя мыслью, что через пятьдесят тысяч лет мои потомки, путем правильного воздействия на них социальной среды и наследственности, уподобятся усовершенствованным машинам, действующим в течение многих веков и дающим в виде готовых продуктов своей тысячелетней работы такие хорошие вещи, как самоотвержение, дух инициативы и т. д.

Рассматриваемый с этой точки зрения вопрос о характере, собственно говоря, не входит в рамки нашей задачи; тем не менее мы считаем за лучшее рассмотреть его здесь в его полном объеме и в той ситуации, которая является наиболее выгодной для наших противников.

Две вышеизложенные теории представляют собой, как нам кажется, поразительный пример нашей умственной лени — этого неизгладимого первородного греха самых крупных умов, той умственной лени, которая заставляет нас пассивно подчиняться внушениям речи, языка. Мы до такой степени привыкли думать словами, что слово совершенно заслоняет от нас действительность, которой оно служит символом. Сложное понятие выражено одним словом, и этого довольно, чтобы, подчиняясь могуществу слова, мы уверовали в действительное единство выражаемого им понятия. Вот такому-то именно неверному понятию, порождаемому в нашем сознании словом «характер», мы одолжены и этой ленивой теорией неизменности характера. Кому же, в самом деле, не ясно, что характер есть ничего больше, как равнодействующая сил, и притом таких, которые подлежат постоянному изменению? Единство человеческого характера аналогично единству Европы: союзы держав, процветание или упадок каждого отдельного государства непрерывно меняют равнодействующую. Совершенно то же можно сказать и о нашем характере, с тою разницей, что наши страсти, чувства, идеи, пребывая в вечном движении, враждуя между собой или действуя заодно, могут менять интенсивность и даже саму природу равнодействующей. Впрочем, ведь и вся наша книга будет лишь одной сплошной демонстрацией возможности переработки характера.

Перейдем теперь к разбору аргументов в пользу теории. У Канта мы не находим ничего кроме выводов *a priori*, но даже и эти априорные выводы, которые он считает необходимыми для обоснования возможности нравственной свободы, отпали бы от кантовской системы, как сухие ветки от дерева, если бы Кант не смешал фатализм с детерминизмом, как мы это увидим ниже.

У Шопенгауэра мы встречаем больше общих мест, чем аргументов, ибо он любит щегольнуть своей эрудицией и везде, где только можно, сует авторитеты. А все эти авторитеты в смысле доказательности не стоят самого крохотного, ничтожного факта. Вот единственные аргументы, какие мы у него находим: 1) Если бы характер мог совершенствоваться, то «старшая половина человеческого рода должна бы оказаться заметно добродетельнее младшей», а на деле этого нет. 2) Если человек хоть раз показал себя негодяем, он навсегда теряет наше доверие, а это доказывает, что мы признаем характер неизменным.

Что могут доказать подобные аргументы для того, кто даст себе труд хоть немного подумать? Да можно ли даже назвать их аргументами? Разве такие доводы — хотя в общем и верные — дают нам доказательство того, что ни один человек не в силах переделать себя, свой характер? Они доказывают только (а это ни для кого не составляет вопроса), что огромное большинство живших на свете людей никогда не делало серьезных попыток переработать свой характер. Они констатируют только тот факт их — почти все наши поступки управляются влечениями, без всякого участия воли. Большинство из нас подчиняется внешним влияниям: все мы следуем моде, живем чужим умом, даже не пытаюсь протестовать, как не пытаемся мы отказаться следовать за землей в ее поступательном движении вокруг солнца. Да мы последние стали бы оспаривать ту истину, что лень присуща каждому из нас почти без исключений. У большинства людей вся жизнь проходит в заботе о хлебе насущном. Рабочий народ, бедные классы, женщины, дети, светские люди вовсе не думают: все это лишь «марионетки», марионетки довольно сложного устройства и, разумеется, сознательные, но у которых пружина всех их движений помещена в области произвольных желаний и внушений извне. Вышедшие из животного состояния путем медленного развития, благодаря гнету жестоких условий борьбы за существование, почти все эти люди имеют стремление спуститься до прежнего уровня, как только внешние обстоятельства перестают прищипывать их энергию. И если только горячая жажда идеала или врожденное благородство души не дадут человеку прочных внутренних побуждений, которые заставляли бы его настойчиво преследовать трудную задачу все более и более полного самоосвобождения от животного естества человеческой природы, он неизбежно отдастся течению. Нечего поэтому удивляться, что добродетельные старики не превышают численностью добродетельных юношей, и совершенно понятно и естественно, что каждый будет остерегаться заведомого плута.

Вот если бы можно было доказать, что всякая борьба бесполезна, что эгоист при всем своем желании никогда не мог и не может возвыситься до самопожертвования, это был бы действительно аргумент, единственный веский и ценный. Но кто же решится утверждать, что эгоист не способен на жертвы? Да подобное заявление не заслуживало бы даже разбора. Мы чуть не каждый день видим, что из-за наживы, из-за денег самые трусливые из трусов идут навстречу смерти. Нет такой страсти, которая не могла бы заглушить страха смерти. А между тем для эгоиста жизнь есть бесспорно высшее благо.

Разве мы не знаем примеров, что эгоисты, увлеченные минутным энтузиазмом, жертвовали жизнью отечеству или какому-нибудь благородному общему делу? А раз такое состояние возможно хотя бы на миг, то спрашивается: куда же девается на этот миг пресловутое: *operari sequitur esse*? Характер, способный радикально переродиться хотя бы на полчаса, не есть неизменный характер, и, значит, для человека есть надежда достигнуть того, чтобы такие перерождения возобновлялись все чаще и чаще.

И потом интересно бы знать, где встречал Шопенгауэр такие абсолютно последовательные характеры, где он видел, например, чтобы человек оставался эгоистом во всех своих помышлениях, во всех своих чувствах от первого до последнего? Надо полагать, что такое упрощение человеческой натуры никогда не осуществлялось в действительной жизни. И опять-таки, повторяем, то мнение, что характер есть нечто единое, цельное, однородное, зиждется на почве в высшей степени поверхностных наблюдений. Характер есть равнодействующая разнородных сил, и одной этой аксиомы, основанной на наблюдении над живыми людьми, а не над абстрактами, вполне достаточно, чтобы разбить в прах наивную теорию Канта и Шопенгауэра. Спенсеру же довольно будет возразить, что ведь и добрые влечения тоже наследственны, как и злые, и в той же мере присущи нашей организации, и что при известном умении силу наследственности можно с таким же успехом эксплуатировать для себя, как и против себя. Во всяком случае весь вопрос здесь лишь в степени, и мы надеемся, что дальнейшая аргументация предлагаемой нами книги раз и навсегда покончит с этим вопросом.

Оставим же в покое эту теорию — теорию неизменности характера, ибо она падает сама собой. Скажем спасибо Шопенгауэру за то, что он привил ее в Германии: случись у нас опять война с немцами, она сослужила бы нам службу двух корпусов солдат, не будь у нас своих теоретиков безнадежности, и в особенности Тэна, который обнаружил узость взгляда, поистине непостижимую в человеке такого большого ума, не сумев отличить фатализм от детерминизма, и который, в силу реакции против кузеновского спиритуализма, дошел до того, что признал жизнь человеческую независимой от человеческой коли, а добродетель обозвал готовым продуктом таким же, как например, сахар. Наивное, ребяческое уподобление, которое, благодаря именно своей грубости, надолго отбило мыслящих людей от изучения детерминизма в психологии и с минуты своего появления на многие годы подорвало значение книги Рибо о болезнях воли. Поневоле подумаешь, до какой степени верно, что зачастую особенно в делах такого деликатного свойства один неловкий и чересчур решительный союзник бывает страшнее целой армии противников.

2. Теперь нам остается очистить наш путь от другой теории, гораздо более претенциозной и внушительной на вид, — от теории, которая отстаивает возможность для человека стать господином своего «я», но которая именно благодаря тому, что на вопрос нравственного самоосвобождения она смотрит как на дело легко достижимое, ничуть не меньше, если не больше фаталистических теорий, способствовала размножению породы людей,

отчаявшихся в успехе этого дела и махнувших на него рукой, как на вещь безнадежную. Мы говорим о теории свободы воли.

Свобода воли, которую многие смешивали с нравственной свободой, не только не имеет ничего общего с последней, но совершенно ей противоречит. В самом деле, такая трудная задача, как самоосвобождение, — задача, требующая времени, являющаяся синонимом настойчивости и постоянства, — и говорить о ней молодым людям, как о деле, которое дается без всякого труда, достигается путем простого fiat. [fiat франц. [fjat] 1. принятие решения, волевое решение 2. fiat! — да будет так!] Не значит ли это заранее обрекать их на разочарование и уныние? Напротив, в тот именно момент, когда молодой человек после восьмилетнего постоянного общения с сильными характерами древности, встающими перед ним еще грандиознее в перспективе веков, весь проникнут энтузиазмом, — тогда-то и следует поставить его лицом к лицу с предстоящей ему важной задачей, не скрывая от него и ни в чем не умаляя ее трудностей, но показав ему в то же время, что его ожидает верный успех, если он будет настойчив.

Не fiat делает человека господином своего «я», как не fiat сделал Францию 1870-го года могущественной Францией наших дней. Двадцать лет тяжелых, настойчивых усилий положила наша родина на то, чтобы подняться. Так и нравственное возрождение личности всегда будет делом терпения и труда. Как люди убивают по тридцати лет жизни на тяжелый, суровый труд только затем, чтобы получить под старость право на отдых в деревне, а мы не пожертвуем и частицы нашего времени такому великому, такому благородному делу, как достижение власти над собой! Ведь от успеха или неуспеха этого дела зависит, какую роль мы будем играть в жизни, чего мы будем стоить и, следовательно, что мы будем из себя представлять. По--беда в этой борьбе даст нам всеобщее уважение, откроет нам все источники счастья (ибо только хорошо направленная деятельность дает истинное, глубокое счастье), — и чтобы почти ни один взрослый человек не прилагал стараний обеспечить за собой эту победу! Не ясно ли, что под притворным пренебрежением к этому вопросу таится скрытое страдание? Да и не испытывали его каждый из нас? Кто из нас в свои учебные годы не чувствовал с глубокой болью несоразмерности между своим влечением к добру, между своим желанием трудиться, поступать честно и разумно и слабостью своей воли? «Вы свободны», — говорили нам наши наставники. И мы с отчаянием чувствовали, что слова эти — ложь; никто не говорил нам, что воля приобретается медленно и с трудом, никому и в голову не приходило спросить, как она приобретается. Никто не готовил нас к этой борьбе, никто нас не поддерживал; понятно и естественно, что в силу реакции мы с жадностью набрасывались на ребяческие доктрины Тэна и фаталистов: эти по крайней мере давали нам утешение, проповедуя покорность перед бесплодностью борьбы. И мы спокойно отдавались течению, стараясь забыться, чтобы не чувствовать лживости этих доктрин, приятно убаюкивавших нашу лень. Да, если что способствовало распространению фаталистических теорий в психологии, так это наивная и вместе с тем

пагубная теория философов свободы воли. Нравственную свободу, как и свободу политическую, как и все, что имеет какую-нибудь ценность на земле, приходится завоевывать трудной борьбой и постоянно отстаивать. Она — награда силы, настойчивости и уменья. Тот только получает свободу, кто ее заслужил. Свобода не есть ни право, ни совершившийся факт; свобода есть награда, — высшая награда, дающая наибольшую сумму счастья: свобода для жизни — то же, что солнечный свет для пейзажа. Кто не сумел ее завоевать, тот никогда не узнает глубоких и прочных радостей бытия. К сожалению, ни один вопрос не затемнялся в такой степени, как жизненный вопрос личной свободы. Бэн называет его ржавым замком метафизики. Ясно, что под личной свободой мы разумеем нравственное самоуправление, власть над собой, упроченное преобладание в нашей душе благородных чувств и нравственных понятий над животными влечениями. О полном самообуздании, об отрешении от всякого греха мы не должны и мечтать: слишком короткий промежуток в каких-нибудь несколько десятков столетий отделяет нас от наших диких предков, живших в пещерах, для того, чтобы мы могли вполне освободиться от наследия необузданной вспыльчивости, эгоизма, похоти и лени, которым они нас наделили. Даже святые, вышедшие победителями из этой безустанной борьбы между нашей человеческой и нашей животной природой. — даже и те не знали счастья спокойного, полного торжества.

Но, повторяем, читатель не должен забывать, что наша задача — задача, которую мы пытаемся наметить здесь в общих чертах, гораздо легче той, какую задавались люди, искавшие святости, ибо одно дело — бороться со своей ленью и страстями, и совершенно другое — стремиться к тому, чтобы убить в себе эгоизм, вырвать его с корнем.

Однако даже и при таких сравнительно благоприятных условиях борьба будет длинна и трудна. Невежды и люди самонадеянные никогда не одолеют в этой борьбе. Тут целая тактика, которую надо изучить, и долгий непрерывный труд, с которым надо считаться. Выступать на эту арену, не зная законов психологии и не считая нужным следовать указаниям тех, кто их знает, — все равно, что рассчитывать победить в шахматной игре искусного противника, не зная ходов фигур. — Но если вы не можете ничего создать, скажут нам сторонники этой химерической свободы воли, — если вы не можете властью произвольного fiat придать тому или другому побуждению той силы, которой само по себе оно не имеет, то значит вы не свободны. — Нет, мы свободны, и иной свободы мы не хотим. Мы не признаем, как признаете вы, что побуждению можно придать силу простым хотением, непонятным, таинственным актом, противоречащим всем законам науки, но мы рассчитываем дать ему эту силу разумным приложением закона ассоциации. Мы управляем человеческой природой лишь путем подчинения ей. Законы психологии — единственная гарантия нашей свободы, и они же — единственное, доступное нам орудие нашего освобождения. Для нас не существует свободы вне детерминизма...

Мы подошли к главному пункту спора. Нам говорят: коль скоро вы не допускаете, чтобы воля сама по себе, помимо всякого желания, одной лишь

своей свободной инициативой, могла обеспечить преобладание слабому побуждению над могущественными, враждебными ему двигателями, — вы предполагаете желание. Ваш студент никогда не будет работать, раз у него нет желания работать. И вот вы вернулись вспять, вы пришли к предопределению, и к предопределению более жестокому, чем у кальвинистов, ибо кальвинист, обреченный аду, не знает об ожидающей его участи, и надежда попасть в рай никогда его не покидает. Вашему же студенту добросовестный самоанализ всегда может показать, что у него нет желания, что он лишен благодати и что, следовательно, всякое усилие бесполезно: он должен заранее проститься с надеждой.

Как видите, вопрос поставлен ребром. Одно из двух: у меня есть желание лучшего или у меня его нет. Если его нет, всякое усилие будет бесплодно. А так как желание зависит не от меня, так как благодать нисходит, куда ей вздумается, то вот вы и приперты к стене: вы опять-таки пришли к фатализму, хуже того: к предопределению. — Прекрасно; но, допуская необходимость присутствия желания, мы допускаем меньше, чем это кажется на первый взгляд. Заметьте: желание лучшего, как бы ни было оно слабо, мы признаем достаточным, ибо полагаем, что путем применения надлежащих средств, путем систематической культуры такое желание можно развить, укрепить и переработать в твердую и прочную решимость. — Но ведь желание-то это — пусть хоть в самой слабой степени — но все-таки оно вам нужно; вы ставите его условием. Раз нет желания, вы бессильны.

— Вполне с этим согласны и даже думаем, что сами сторонники свободы воли признают вместе с нами всю бесплодность решения исправиться, коль скоро оно не опирается на желание исправиться. Работать, скрепя сердце, над задачей, требующей времени и терпения, не любить того, что хочешь осуществить, это значить — не иметь никаких шансов на успех. Надо любить свое дело, чтобы добиться успеха. — Но опять-таки одно из двух: эта любовь, это желание — есть они у вашего студента, или их нет? Если нет, он осужден безвозвратно. — Ведь мы уже сказали, что принимаем эту дилемму. Да, желание необходимо: нет желания свободы, нет и свободы. Но все дело-то в том, что печальные последствия такого предопределения распространяются всего лишь на одну категорию людей, на которых и сами сторонники свободы воли, — даже самые крайние из них, — смотрят как на несчастных обреченных.

В самом деле, ведь и вся-то категория этих обреченных сводится к маленькой кучке жалких умалишенных, страдающих нравственным умопомешательством. Мы утверждаем, хоть и не можем этого доказать, утверждаем единственно на том основании, что никогда не встречали случаев противного, — что если спросить любого человека (не страдающего умственным расстройством), предпочел ли бы он славное поприще Пастера существованию какого-нибудь презренного пьяницы, человек этот ответить «да». Само собою разумеется, что это постулат, наш постулат. Но кто же станет его оспаривать?

Видели ли вы когда-нибудь человека, который был бы абсолютно не чувствителен к величию гения, к красоте, к нравственному совершенству? Если такой зверь и существует или существовал на земле, то, признаюсь, его положение ничуть меня не трогает. Если же постулат мой верен, — а он верен для огромного большинства человеческих людей, — мне этого довольно. Раз человек презирает гнусность наиболее отталкивающих экземпляров человеческой породы и предпочитает ей величие Сократа, Регула, Винченца-де-Поля, такого предпочтения — как бы ни было оно слабо — вполне достаточно. Ибо предпочитать значит любить, желать. А желание — будь оно самое мимолетное — можно всегда поддержать, укрепить. Если работать над ним, обращаться с ним умело, с надлежащим знанием психологических законов, оно вырастет, разовьется и превратится в непоколебимую решимость. Так из слабого зернышка — пищи муравья — вырастает могучее дерево, которому не страшны ураганы.

Итак, тот довод, что мы пришли к предопределению, нисколько нас не смущает, ибо — вне небольшой кучки умалишенных, от которых отступаются и сами сторонники свободы воли — сторонники пресловутого *fiat*, да может быть еще нескольких десятков неисправимых злодеев — все мы предрасположены к добру. Таким образом человеческая нравственность не имеет ни малейшей надобности связывать свою судьбу с такими рискованными и, повторяем, с такими безотрадными теориями, как теория свободы воли. Нравственность нуждается только в свободе, а это не одно и то же. Нравственная же свобода может быть достигнута лишь путем детерминизма и в пределах его. Для того, чтобы человек мог достигнуть нравственной свободы, нужно только, чтоб у него хватило воображения построить план жизни и поставить его целью своих стремлений. Знание и приложение на практике законов психологии дадут ему возможность обеспечить преобладание за намеченным планом, а там его делу поможет время — этот великий двигатель освобождения идеи в нашем сознании.

Весьма возможно, что наша концепция свободы не так соблазнительна для человеческой лени, как теория свободы воли. Но она имеет над последней то преимущество, что согласуется с сущностью нашей психической и нравственной природы и не ставит нас в глупое положение человека, гордо заявляющего о своей абсолютной свободе, причем это заявление разбивается на каждом шагу о слишком явную очевидность его рабства перед его внутренними врагами. И если бы недоразумение кончалось на том, что вызывало бы ироническую улыбку у наблюдателя человеческой природы, тогда бы еще полбеда; но в том-то и горе, что неизбежным его последствием является разочарование и уныние у людей самых благих начинаний, не говоря уже о том, что теория свободы воли несомненно послужила преградой для многих глубоких умов, заставив их уклониться с пути исследования элементов, обуславливающих волю¹. А это невознаграждаемая потеря.

Теперь, когда мы освободились от ходячих психологических доктрин, мы можем спокойно углубиться в наш предмет и приступить к более близкому ознакомлению с психологией воли.

Отдел II

ПСИХОЛОГИЯ ВОЛИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Исследование роли идей в ряду элементов, образующих волю

Если бы элементы, из которых складывается наша психическая жизнь, были просты, не могло бы быть ничего легче, как ознакомиться с теми ресурсами или препятствиями, какие они представляют в деле достижения власти над своим «я». Но элементы эти переплетаются между собой в такие запутанные комбинации, что подробный их анализ становится делом очень сложным и далеко не легким.

Не трудно однако заметить, что все элементы нашей внутренней жизни сводятся к трем группам, а именно: к идеям, эмоциям, или чувствам, и поступкам.

1. Слово идея обнимает собою много отдельных элементов. Самое глубокое различие, какое до сих пор сумели провести между нашими идеями психологи, изучавшие область взаимных соотношений ума и воли, это деление идей на центростремительные и центробежные. Есть множество идей, приходящих к нам извне; все это лишь временные гости, не прошедшие еще через процесс ассимиляции и для которых наша память служит лишь складочным местом. Самые противоречивые понятие уживаются здесь бок о бок, и все мы носим в себе целый склад мыслей, заимствованных из чтения, из разговоров, даже из снов: все это чужестранцы, воспользовавшиеся нашей умственной ленью, чтобы вторгнуться в наше сознание, большей частью под прикрытием авторитета какого-нибудь писателя или профессора.

В эту-то кладовую, где, как говорится, всякого жита по лопате, обращаются наша лень и наша чувственность, когда хотят найти себе оправдание. Идеи этого порядка подчинены нашей воле: мы можем выстроить их в шеренгу, сделать им смотр и заставить их эволюционировать, как нам заблагорассудится. Мы над ними полные господа, но зато они над нами не властны. Идеи эти в большинстве одни слова — не больше. А борьба слов с нашей ленью и чувственностью — это та же борьба глиняного горшка с чугуном. Фулье защищал совершенно ложный тезис, говоря об идеях-силах. Он не понимал, что если идея и обладает двигательной силой, то источник этой силы всегда почти коренится в тесной связи идеи с настоящими двигателями, какими являются эмоции. Опыт показывает нам на каждом шагу, как слаба власть идеи. От чисто формального, рассудочного одобрения еще очень далеко до деятельной веры, приводящей к поступку. Как только ум выступает один, без посторонней помощи, на борьбу с дикой когортой чувственных влечений, он оказывается бессильным. В здоровом состоянии такая обособленность ума невозможна, но в болезнях воли мы находим ясные

доказательства того факта, что всякая сила, приводящая к важным поступкам, исходит из области чувства. Мы не говорим, чтобы ум был сам по себе совершенно бессилён; мы утверждаем только, — и это нам кажется несомненным, — что одной силы ума недостаточно, чтобы сдвинуть или одолеть тяжёлую, неподвижную массу животных влечений. Рибо доказал разительными примерами, что когда чувствительность глубоко поражена, когда ощущение не сопровождается, например, чувством радости, как бы должно сопровождаться, а вызывает только представление о себе, только одну холодную сухую идею, — разумное существо становится неспособным сделать самое простое движение рукой, чтобы подписать свое имя. Кто из нас не испытывал подобного состояния в минуту пробуждения после тревожного сна и неполного отдыха? Казалось бы, мысль ваша работает довольно отчетливо, вы понимаете, что надо сделать; но вы не можете стряхнуть охватившего вас глубокого оцепенения и чувствуете, что идея сама по себе имеет мало силы. Но стоит вам услышать в эту минуту, как ваша служанка переговаривается с посетителем, которого вы ждали, но о котором забыли, — и испуг перед тем, что вас застанут врасплох (а испуг — чувство), мгновенно сбрасывает вас с постели. Разнообразные случаи, приводимые Рибо в его «Болезнях воли» дают нам живую иллюстрацию этого контраста между влиянием идеи и чувства. Так, например, один из больных, которых он описывает, бывший не в состоянии сделать ни малейшего произвольного движения, — хотя умственные его способности не были повреждены, — первый выскочил из кареты, когда она переехала женщину на дороге.

К несчастью, на патологические состояния принято смотреть, как на нечто самобытное, стоящее особняком, а между тем это та же действительность, только в увеличенном масштабе. Как скряга всегда будет готов смеяться над смешными сторонами Гарпагона, не думая принимать сатиры на свой счет, так и мы не хотим узнавать себя в тех резких, определенных проявлениях болезненного состояния духа, какие мы видим у душевнобольных. Но уже один опыт должен бы заставить нас понять все бессилие идеи. Не говоря об алкоголиках, которые отлично знают, к каким последствиям приведет их пьянство, но не чувствуют этих последствий, пока их не хватит первый удар, т.е. когда уже поздно, — что такое непредусмотрительность, как не представление тех бед, каким грозит будущее, но представление, лишённое ощущения этих бед? Нужда пришла. Ах, если бы я знал! Он знал, но не тем глубоким, прочувствованным знанием, которое по отношению к воле одно только и идет в счет.

Под этим поверхностным слоем идей, не проникающих вглубь, лежит ряд идей, которые могут почерпнуть силу в поддержке мимолетного чувства. Возьмем пример. Положим, что вы провели несколько дней в сравнительном бездействии. Вы читали, но сочинение, над которым вы работаете, не подвигалось вперед; воля отказывалась служить, вопреки превосходным доводам, которыми вы старались себя убедить; вдруг почта приносит вам известие об успехах вашего товарища, и вот в вас зашевелилось чувство соревнования, зависть, и чего не могли сделать самые высокие, самые

основательные соображения, то разом делает волна эмоций низшего порядка. Я никогда не забуду одного случая, показавшего мне с поразительной ясностью всю разницу между эмоцией и идеей. Как-то раз в Бюэ, перед рассветом, я спускался по крутому склону ущелья; дно пропасти исчезало в темноте. Я поскользнулся и покатился вниз на ногах. Ни на секунду я не растерялся. Я понимал свое критическое положение и ясно сознавал опасность. Шагов через полтора мне удалось замедлить свой бег и наконец остановиться: все это время я не переставал думать о том, что я могу разбиться. Совершенно спокойный, я продолжал спускаться, опираясь на свою альпийскую трость, пока не дошел до площадки между скал. И тут-то, когда я был в безопасности, когда я был спасен, у меня вдруг началась сильнейшая дрожь (быть может вследствие истощения после чрезмерных усилий). Сердце страшно билось, все тело покрылось холодным потом, и только тут я почувствовал страх, непреодолимый ужас овладел мной. В один миг сознание опасности перешло в ощущение опасности.

Еще глубже, чем эти идеи внешнего происхождения, временно воспринятые преходящими эмоциями, заложены в нас идеи, которые — хотя прошедшие тоже извне — находятся в такой гармонии, так тесно сливаются с основными чувствами, с идеями внутреннего происхождения, представляющими, так сказать, точную формулу самой сущности нашего характера, самых глубоких наших влечений, что тут уже бывает невозможно сказать, идея ли поглотила чувство, или чувство идею. Наше чувствующее «я» придает им горячую окраску: такая идея сама становится в некотором роде чувством. Как лава, остывшая на поверхности, годами сохраняет свою первоначальную теплоту на известной глубине, так и идеи этого порядка, при переходе своем в область умственной деятельности, сохраняют теплоту своего эмоционального происхождения. Ими в одно и то же время и вдохновляется, и поддерживается всякая продолжительная деятельность в данном направлении. Но мы не должны забывать, что идеи этого происхождения нельзя назвать идеями в собственном смысле; это скорее точно выраженные, удобные для обращения заместители чувств, т.е. могущественных, но малоподвижных, тяжелых на подъем психических состояний. Они не имеют ничего общего с теми поверхностными идеями, которые составляют «словесного человека» и которые часто суть не более, как слова, пустые символы обозначаемых ими вещей. Свою силу они получают, так сказать, от корней. Это заимствованная сила, которую они черпают в живом источнике чувства, страсти, одним словом — эмоции. Раз такая идея зародилась в душе, жаждущей ее воспринять, она начинает путем таинственного двойного процесса эндосмоса, с которым мы познакомимся ниже, притягивать к себе чувства, могущие ее оплодотворить; она как бы питается, подкрепляется ими, а с другой стороны, точность, определенность идеи сообщается чувству и дает ему не силу, а направление. Идея для эмоций — то же, что намагничивание для бесчисленных токов в бруске мягкого железа: она направляет их в одну сторону, предупреждает столкновения и беспорядочную, смешанную массу превращает в правильный ток удесятенной силы. Так, в борьбе

политических партий бывает иногда достаточно одной удачной формулы популярного оратора, чтобы направить к одной определенной цели все до тех пор разрозненные и враждовавшие между собой народные силы.

Но предоставленные собственным ресурсам идеи бессильны перед могуществом влечений. Кому не случалось, особенно ночью, поддаваться беспричинному страху, — тому нелепому страху, когда вы не смеее пошевелиться в постели, когда сердце колотится в груди, кровь приливает к вискам и вопреки всем доводам рассудка, не утратившего ни на волос своей ясности, вы не в силах побороть овладевшего вами волнения? Советую тем, кто этого не испытал, прочесть в глухую полночь, в деревне, зимой, когда ветер воет в трубе, «Замурованную дверь» Гофмана (один из его фантастических рассказов); тогда они воочию убедятся, как мало значат разум, идеи со всею их точностью перед эмоцией страха. Да не говоря уже о таких могущественных и почти инстинктивных чувствах, как страх, довольно познакомиться поближе с областью чувств более высокого порядка, с так называемыми приобретенными чувствами, чтобы уяснить себе всю разницу между двигательной силой идеи и эмоции. Сравните «попугайскую», чисто рассудочную веру провинциальной буржуазии с прочувствованной верой доминиканца. Последний чувствует религиозную истину, и это чувство дает ему силу жертвовать своей личностью; он лишает себя всего, что ценится в этом мире, умерщвляет свою плоть, безропотно переносит бедность и самый суровый режим. Буржуа, у которого вера интеллектуального происхождения, ходит к обедне, но не чувствует ни малейшего отвращения к проявлениям самого гнусного эгоизма. Он богат, но он безжалостно эксплуатирует свою бедную служанку: морит ее голодом, изводит непосильной работой. Сравните, наконец, социалистические поползновения какого-нибудь бульварного завсегдатая, который не откажет себе ни в одном удовольствии, ни даже в самой пустяшной издержке, удовлетворяющей его тщеславию, с прочувствованным социализмом Толстого, осыпанного всеми земными благами, — человека, который, имея все: аристократическое имя, богатство, гений, живет жизнью русского крестьянина. Или возьмем идею неизбежности смерти: каждый из нас знает, что смерть неизбежна, но у большинства эта идея остается абстрактной. И вот мы видим, что мысль по существу такая утешительная, успокаивающая, — мысль, которая должна бы смягчить в нас низменные побуждения честолюбия, гордости, эгоизма и прекращать наши страдания в самом источнике, остается бездействующей и ни в чем не влияет на наши поступки. Да и может ли быть иначе, когда даже осужденным на смерть идея неизбежности смерти чувствуется по большей части только в последний момент? «Эта мысль ни на секунду не покидала его, но она представлялась его уму так смутно, в такой общей форме, что он не мог остановиться на ней. Минутами вспоминая, что скоро он умрет, он начинал дрожать от ужаса и вспыхивал весь, как огонь, и вслед затем принимался машинально считать брусья железной решетки в зале суда, с удивлением замечал, что один брус сломан, и спрашивал себя, починят ли его... Только вечером этого последнего печального дня мысль о безысходности его

положения, об ужасающей развязке, к которой он был так близок, предстала его уму во всем своем ужасе: до этой минуты он только смутно предвидел возможность того, что он умрет так скоро» («Оливер Твист» Диккенса).

Мы думаем, что этих примеров достаточно. Впрочем, наверное, каждый из нас, обратившись к своему прошлому опыту, найдет там массу характерных фактов, которые убедят его в верности наших выводов. Нет, идея сама по себе не есть сила. Она была бы силой, если бы в нашем сознании она жила одна. Но так как она там постоянно сталкивается с эмоциями, то, чтобы бороться с ними, она должна заимствовать недостающую ей силу в области чувства.

2. Такое бессилие над нами идеи тем более прискорбно, что наша власть над ней безгранична. Детерминизм в применении к изучению ассоциации идей, при умении его утилизировать, обеспечивает нам почти абсолютную свободу действий в области интеллекта. Знание законов ассоциации дает нам возможность разорвать цепь ассоциированных состояний, ввести в нее новые элементы и связать ее вновь. Сейчас, пока я подыскивал конкретный пример для «иллюстрации» моего теоретического положения, случай — этот верный помощник человека, преследующего идею, подсказал мне нужный пример. Я услышал фабричный свисток. Этот звук, это презентативное состояние, помимо моей воли, разорвало нить моих мыслей и насильно ввело в мое сознание картину моря, резко очерченный профиль горного гребня и всю восхитительную панораму, которая открывается с набережных Бастии. Дело в том, что звук свистка был совершенно такой же, как у свистка парового пакетбота, который я так часто слышал в течение трех лет. И так, вот средство, которое приведет нас к самоосвобождению: это средство — в праве сильнейшего. Общее правило: презентативное состояние сильнее состояния репрезентативного. Коль скоро случайно услышанный свисток — презентативное состояние — может разорвать цепь идей, которой мы хотим следовать, то, значит, такое же средство мы можем применять и сознательно.

Мы можем по произволу вызывать в своей душе презентативные состояния. Если нам нужно освободиться от какой-нибудь очень сильной ассоциации идей, мы можем ввести в наше сознание презентативное состояние, которое разорвет эту цепь. В ряду презентативных состояний есть одно особенно удобное и послушное нашей воле, это — движение и между движениями в особенности те, которыми обуславливается речь. Можно произносить слова вслух или громко читать. Можно даже бичевать себя, как это делают монахи, чтобы прогнать искушение: можно, одним словом, силой разрывать ассоциации, которые мы хотим разорвать. Таким образом, мы можем силой ввести в наше сознание идею, за которой хотим обеспечить победу, так, чтобы идея эта, в свою очередь, сделалась точкой отправления для новой цепи идей.

К тому же нам много помогает в этой задаче важный закон памяти. Для того, чтобы воспоминание могло глубоко запечатлеться в нашем уме, оно должно часто и подолгу повторяться, а главное, оно должно сопровождаться живым и, если можно так выразиться, сочувственным вниманием. Мозговые

субстраты тех цепей ассоциаций, которые мы исключили из нашего сознания и держим, так сказать, в изгнании, атрофируются, стираются и в своем исчезновении увлекают за собой соответствующие им идеи. Итак, мы — господа наших мыслей: мы можем вырывать с корнем сорные растения; более того, мы можем даже вызывать разрушение самой почвы, которая их питала.

И наоборот, когда мы хотим сохранить существующие ассоциации и дать им развиваться, мы прежде всего стараемся удалить представления, чуждые предмету наших мыслей, чтобы они не могли вторгнуться в наше сознание: мы ищем тишины, уединения, даже закрываем глаза, если нить наших мыслей не довольно прочна. Мало того: мы призываем на помощь представления, которые могут быть нам полезны. Мы думаем вслух, записываем наши мысли. Записывание в особенности помогает при долгом размышлении; тут оно оказывает просто чудеса. Записывание поддерживает мысль, заставляя руку и глаз принимать участие в движениях идей. Я лично имею привычку, сильно укоренившуюся, благодаря роду моих занятий, выговаривать слова, когда я читаю. Таким образом мысль поддерживается у меня тремя цепями презентативных ощущений и даже четырьмя, так как, выговаривая слово, мы почти неизбежно и слышим его.

Короче сказать, мы можем по произволу управлять нашими мышцами, преимущественно мышцами органов чувств и теми, которыми обуславливается речь; это-то и дает нам силу освобождаться из-под ига ассоциаций идей. Само собою разумеется, что тут могут встречаться индивидуальные различия, и психологи нашего времени, по свидетельству Рибо, грешат поползновением к обобщению своего личного опыта именно благодаря тому, что современная психология беспрестанно открывает новые типы, которые прежде смешивали. И со своей стороны скажу только о себе, не обобщая этого факта, что единственное воспоминание, которым я вполне располагаю и которое всегда первым представляется моему уму, когда я хочу изменить течение моих мыслей, это — представление движения. Я — господин своей мысли только потому, что я управляю моими мышцами.

Как бы то ни было, с точки зрения нравственного самоосвобождения, воспитания в себе воли, заключение этой главы представляет мало утешительного. Мы всецельны над нашими идеями, но — увы! — сила наших идей в борьбе с нашей ленью и чувственностью почти ничтожна. Посмотрим, что принесет нам ознакомление с эмоциями и теми ресурсами, какие они представляют для достижения власти над своим «я».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Исследование роли эмоций

1. Мы не преувеличим, если скажем, что власть над нами эмоции безгранична. Эмоция всесильна: повинуюсь ей, человек, не колеблясь, идет на смерть и страдания. Констатировать могущество эмоции — значит констатировать универсальный эмпирический закон. Но этот эмпирический закон мы можем обратить в закон научный: мы можем вывести его из закона высшего порядка и рассматривать, как следствие, имеющее своим источником очевидную истину.

Если посредством анализа мы отделим один от другого смешанные элементы, из которых слагается чувство, то увидим, что тут происходит то же, что в каком-нибудь адажио Бетховена: одна основная тема или фраза проходит через все вариации, которые то покрывают ее собой, то сами стушевываются, и тогда она выступает выпукло и ярко. Возрождающаяся в бесконечном разнообразии форм, эта основная музыкальная фаза есть как бы душа, постоянно меняющаяся и вместе с тем единая, одухотворяющая собой все развитие музыкальной идеи. Вот этой-то музыкальной фразе, на которой держится все адажио со всем изумительным богатством своих переходов, соответствует в области чувства одно начальное, основное стремление. Стремление это придает чувству единство. На нем могут разыгрываться самые богатые вариации ощущений удовольствия и страдания и воспоминаний. Оно же придает особый оттенок всем этим подчиненным элементам. Как у Декарта твари существуют лишь непрерывным актом творения Бога, так и здесь все наши ощущения удовольствия и страдания, все наши воспоминания не имеют реального существования вне своего рода непрерывного творчества: они живут лишь отраженным светом, который дает им живая сила основного стремления. Отымите у них этот свет, и вы получите беспорядочную грудку холодных психических состояний, бесцветных абстрактов без жизни и силы.

Вот это-то основное начало, присущее всякому чувству и объясняет нам, почему эмоции имеют над нами такую сильную власть. В самом деле, что такое влечение, как не сущность нашей жизненной деятельности, жажда жизни, желание жить, — хотение, которое, подчиняясь суровой дисциплине страдания, было вынуждено уклониться в своем развитии от многих дорог и пошло дозволенными путями, как бы повинуюсь закону, говорившему: направь свое течение по руслу определенных, организованных влечений или умри!

Эта жизненная деятельность, управляемая страданием и — с минуты своего подчинения ему — выражающаяся отдельными сериями связанных между собою мышечных движений, из которых слагается такое-то действие или такая-то группа действий, резко отличающиеся от других действий или групп, и составляет начальную форму всякого влечения.

Без дисциплины страдания эта деятельность рассеялась бы по всем направлениям и осталась бы бесплодной: опыт направил ее по руслу

влечений. Итак, наши влечения, это, так сказать, наша центральная, начальная энергия, прорывающаяся горячими струями сквозь поверхностную кору приобретенных идей, подчиненных чувств внешнего происхождения. Это наша живая сила, выливающаяся в соответственных движениях мышц, выражающаяся привычными действиями: этим-то и объясняется двигательная сила влечений. Последние обуславливаются группой или, верите, группами элементарных движений. Так, например, мышечный аппарат, приводимый в действие чувством гнева, любви и т.д., всегда в каждом индивидуальном случае один и тот же в общих чертах. Мало того, мы даже замечаем, что он одинаков для всего вида. Каким мы видим его теперь, таким он был и у бесчисленных поколений предков, давших нам жизнь. На этой-то, немного стершейся основе каждый вышивает свои индивидуальные узоры, но общий рисунок остается до такой степени однородным и связанным, что даже грудные дети умеют его понимать. Эта связь между нашими влечениями и соответствующими им сериями мышечных выражений передана нам наследственностью. Это тысячелетняя связь. Понятно, что цепь между такой-то идеей и таким-то движением мышц, связанная мною сознательно, будет совершенно бессильна наряду с вышеупомянутыми крепкими цепями влечений их мышечных выражений, превратившимися в автоматические. Такая сознательная ассоциация имеет один только шанс (не трудно догадаться — какой) — не быть разбитой в этой неравной борьбе; она должна вступить в союз, слиться воедино с наследственными влечениями; тогда борьба станет возможной и тонкая нить, связывающая сознательную идею с движением, выдержит натиск враждебных ей сил.

Сила чувств чрезвычайно богата проявлениями. Сильное чувство способно вторгаться в область и нарушать правильное течение совершенно по-видимому независимых от него психических состояний, например: восприятия образов чувственных предметов. Правда, что всякое, даже начальное, восприятие есть толкование известных признаков. Когда я смотрю на апельсин я, собственно, не вижу апельсина, а только заключаю по известным признакам, что это должен быть апельсин. Но сила привычки делает такое толкование мгновенным, автоматичным и, следовательно, трудно поддающимся нарушениям. И тем не менее мы постоянно видим, что сильное чувство устраняет верное и подсказывает нам ложное толкование, которое и заступает место первого в нашем сознании. Не говоря уже о том, какие нелепые толкования самых естественных звуков может породить страх, особенно по ночам, — разве не ослепляет нас ненависть до того, что мы перестаем видеть самые очевидные факты? Чтобы вполне ясно представить себе эту курьезную фальсификацию чувств, стоит только вспомнить, как часто заблуждаются матери насчет красоты своих чад, или перечесть прелестную бутану Мольера в «Мизантропе», где он смеется над иллюзиями влюбленных:

Влюблен он в бледную —она бледней жасмина; Когда ж красавица, как смертный грех, черна — Смуглянкой страстной он зовет ее картинно!

Но не одни только восприятия так легко поддаются фальсификации чувства. Сильное чувство не пощадит и другого чувства, если последнее слабее. Так, например (факт этот имеет особенное значение, как мы это увидим ниже), чувство тщеславия — очень сильное у многих людей — может вытеснять из нашего сознания реальные, действительно испытываемые нами чувства. Самолюбие очень часто подсказывает нам условные, красивые чувства. Таким-то образом эти чужестранцы втираются в наше сознание и заслоняют собой настоящие чувства, как это бывает с человеком, страдающим галлюцинациями, когда явившееся ему на стене привидение заслоняет в его глазах рисунок обоев совершенно так, как если бы перед ним стояло живое существо. Эти-то самовнушения вышеописанного характера и делают то, что молодой человек жертвует глубокими радостями своего возраста и положения воображаемым удовольствиям, которые, —> если взять их в отдельности от наносных чувств, подсказанных окружающей средой и тщеславием, — окажутся жалкими и ничтожными. По той же причине и светские люди — пустые и по своим наклонностям и по неспособности во что-либо углубляться — никогда не дают себе труда определить, что они действительно чувствуют в водовороте той занятой и вместе с тем глупой и бессодержательной жизни, какою они живут. Они приучают себя воображать, что они на самом деле испытывают те условные чувства, которые считаются похвальными в их кругу, и кончается тем, что эта привычка убивает в них всякое истинное чувство. Такое порабощение ничтожному «что скажут» создает людей отполированных, приятных в обращении, но лишенных всякой оригинальности, — изящных кукол-автоматов, которыми управляют другие. Даже в самые трагические моменты чувства таких людей, от первого до последнего, условны.

Ясно, что если эмоции обладают достаточной силой, чтобы фальсифицировать такие малоподвижные и прочные состояния, как восприятия и чувства, то еще с большим успехом они могут возмущать те хрупкие психические состояния, которые мы зовем воспоминаниями. А так как всякое суждение, всякое верование опираются на более или менее полное исследование и сопровождаются точной оценкой элементов этого исследования, то очевидно, что и в этой области сила эмоции может приводить к очень крупным последствиям. «Главное употребление, какое мы делаем из нашей любви к истине, это то, что мы убеждаем себя, что то, что мы любим, есть истина» . Почти все мы воображаем, что мы принимаем решения, избираем тот или другой образ действий. Но, к сожалению, почти всегда наши решения принимаются хоть и внутри нашего «я», но не нами: наша сознательная воля нисколько в них не участвует; наши влечения, заранее уверенные в том, что в конце концов они одержат победу, позволяют уму, если можно так выразиться, сказать свое последнее слово, охотно уступая ему дешевую привилегию считать себя королем, тогда как на деле это конституционный король, который парадирует, говорит речи, но не правит.

Действительно, наш ум, так послушно подчиняющийся необузданной силе эмоций, и не может оказывать большого влияния на нашу волю.

Последняя не любит исполнять холодные, сухие приказания, которые он ей отдает: как силе эмоционального происхождения, ей нужны приказания, проникнутые чувством, окрашенные страстью. Стоит вспомнить вышеприведенный случай с нотариусом, — душевнобольным, страдавшим абсолютным безволием, который первым выскочил из кареты и кинулся на помощь женщине, попавшей под колеса.

Вот как обстоит дело по отношению к минутным проявлениям воли и, следовательно, тем паче по отношению к продолжительным и сильным ее проявлениям. Для того, чтобы воля могла работать подолгу и энергично, она должна поддерживаться и энергичным и если не постоянным, то по крайней мере часто возбуждаемым чувством «Большая чувствительность — говорит Милль — есть орудие и необходимое условие, с помощью которого мы можем приобретать огромную власть над собой; но для этого наша чувствительность должна быть культивирована. Раз она получила такую подготовку, она создает не только героев первого побуждения, но и героев сознательной, владеющей собой воли. История и опыт показывают, что самые страстные характеры обнаруживают наибольшее постоянство и стойкость в чувстве долга, коль скоро их страсти были направлены в эту сторону»². Да стоит каждому из нас внимательно проследить за собой, чтобы убедиться, что, оставив в стороне наши действия, сделавшиеся автоматическими в силу привычки, всякому хотению предшествует волна эмоций, эмоциональное восприятие того действия, которое надо выполнить, то мы видим (как в одном из вышеприведенных примеров), что мысль о предстоящей работе оказывается бессильной, чтобы заставить человека подняться с постели, и в то же время стыд, что его застанут раздетым, несмотря на сделанное им накануне заявление, что он будет на ногах с раннего утра, действует на него так, что он мгновенно начинает одеваться; то мы узнаем, что чувство протеста, вызванное несправедливостью, толкает человека на крупные жертвы и т.д. и т.п.

Даже в основе того нерационального воспитания, какое дают нашим детям, лежит отчасти все та же, смутно воспринятая истина. Вся эта система наград, наказаний, конкурсных сочинений основана на смутном убеждении, что одни только эмоции могут воздействовать на волю. И действительно, дети, у которых чувствительность очень слаба, не поддаются никаким воспитательным мерам в смысле воздействия на их волю, а следовательно, и во всех других смыслах. «Надо сознаться, что из всех трудностей, какие представляет воспитание, ни одна не сравнится с трудностью воспитывать ребенка, лишенного чувствительности... у такого ребенка все мысли скользят по поверхности... он все выслушивает, но ничего не чувствует».

Если мы примем, что в человеческих обществах с их коллективной волей происходит то же, что в отдельных индивидах, только в увеличенном масштабе, для нас станет очевидным, что если идеи и руководят миром, то лишь косвенным образом — через посредство чувств. «Воцарение идеи, — говорит Мишлэ, — надо считать не столько с момента её появления, первой ее формулировки, сколько с того момента, когда, воспринятая всемогущим

чувством любви, она выходит из яйца и начинает жить новой жизнью, оплодотворенная живой теплотой сердца». Спенсер справедливо утверждает, что «миром руководит» чувство². Стюарт Милль возражает ему, что «не эмоции и не страсти человеческие открыли движение земли». Конечно, нет. Но источником той пользы, какую принесло это открытие, были могучие чувства, без которых оно не оказало бы на человека никакого влияния. Идея его созрела в душе Паскаля, Спинозы, — в душе Спинозы в особенности. Чувство ничтожности нашей планеты во вселенной, а следовательно, и чувство человеческого ничтожества так глубоко проникает его сочинения, что, вчитываясь в них, как будто и сам проникаешься чувством глубокого покоя, как будто слышишь над собой тихое дыхание вечности. Только мыслители ощутили на себе практические последствия того открытия, ибо только в их душе породило оно глубокие эмоции. Воля нации, политической группы есть равнодействующая эмоциональных сил (общих интересов, общих симпатий, опасений и т.д.) и идея, в чистом ее виде, оказывается слишком слаба, чтобы руководить народами.

Но не будем утомлять внимание наших читателей дальнейшими комментариями на эту тему. История даст им сколько угодно доказательств слабости идеи и силы эмоций в смысле воздействия того и другого на наши поступки.

Разбирая, например, одушевляющее каждого из нас патриотическое чувство, они сумеют, конечно, отличить, что в этом чувстве следует отнести на счет эмоциональных идей в тесном смысле и что должно быть приписано общим страданиям, гневу, страху и надеждам. Что же до индивидуальных примеров, доказательств, взятых из жизни, то стоит им бросить самый беглый взгляд на «человеческую комедию», чтоб насчитать такие примеры целыми дюжинами. Не говоря уже о примерах, приведенных в первой главе этой книги, они увидят женщин-ханжей, которые ни за что не пропустят воскресной обедни и в то же время не задумаются разорвать на клочки репутацию другой женщины, своего «лучшего друга». Они увидят проповедующих филантропию политических деятелей, которые ужаснулись бы одной мысли посетить нищенскую лачугу, близко подойти к бедняку, часто грязному, всегда грубому. В иные моменты, наблюдая приступы волнения, возбуждаемые чувственностью в их собственном сознании, они становятся парализованные, пораженные изумлению перед теми гнусными мыслями, какие может порождать в уме человека, в обыкновенное время вполне владеющего собой, какое-нибудь физиологическое выделение, скопившееся в одном пункте его тела. Такому бессилию идеи они противопоставят то беззаветное самопожертвование, то полное отречение не только от жизни, но даже от всякого самолюбия, какие может порождать в человеке глубокое религиозное чувство. Они проникнутся правдой изречения в «Подражании Христу»: *qui amat pop laborat*. И в самом деле: для того, кто любит, все легко, всякий труд приятен. Они увидят, как легко разлетаются в прах идеи чести, патриотизма перед силой материнского чувства: пусть живет, пусть живет опозоренный — лишь бы он жил! Но увидят они и

обратное явление: пример горячего патриотизма Корнеля покажет им, что самым могущественным чувствам могут быть противопоставлены чувства вторичной формации, искусственного, идейного происхождения, и что последние могут одерживать победу. Этот пример нам особенно дорог, ибо он доказывает, что самые прочная инстинктивные чувства могут быть искореняемы без остатка.

Мы надеемся, что теперь, после нашего исследования, при всей его краткости, никто не станет отвергать неограниченной власти эмоций над человеческой волей.

2. К сожалению, при существовании в нашей психической жизни столь очевидного перевеса эмоциональной стороны нашей природы, наша власть над этой стороной оказывается очень слаба. И — что еще важнее — слабость эта не только существует на деле, как убеждают нас факты, но можно доказать, что ее и не может не быть. В самом деле, ведь наше бессилие над эмоциями есть лишь неизбежное последствие, вытекающее из самой природы эмоций. Мы уже показали в одном из наших трактатов, что необходимым орудием всякого воздействия нашего организма на внешний мир являются мышцы; нет мышц, нет и внешнего действия. Мы знаем, что всякий импульс, проходящий извне каким бы то ни было путем, имеет свойство вызывать ответное действие со стороны получающего его организма, — ответное действие, выражающееся, разумеется, в движениях мышц. Внешние впечатления чрезвычайно разнообразны, а следовательно, так же разнообразны будут и мышечные приспособления к ним. Но какую бы форму ни принимало мышечное выражение полученного импульса, оно требует известной затраты силы, и природа предусмотрительно озаботилась пополнением этих затрат; стоит какому-нибудь впечатлению поразить наши внешние чувства, и в тот же миг сердце начинает биться быстрее, дыхание ускоряется, весь сложный механизм функций питания получает как бы ударькнутого. Этот физиологический толчок, непосредственно следующий за впечатлением, и составляет эмоцию в собственном смысле. Чем сильнее толчок, тем сильнее будет и эмоция; если же первый отсутствует, то нет и последней. И вот этот толчок, это физиологическое сотрясение автоматически; более того, оно совершенно почти не поддается влиянию нашей воли, а для дела нравственного самоуправления это очень прискорбно.

Мы не можем ни остановить, ни даже умерить биения своего сердца прямым воздействием воли; мы не можем разом прекратить приступ сильного страха, остановив почти полную парализацию наших внутренних органов, которую вызывает это чувство. В приступах чувственности мы не можем воспрепятствовать выделению и накоплению семенной жидкости. Никто не может быть больше нас убежден в той истине, что люди, вполне владеющие собой, очень редки, что нравственная свобода есть награда настойчивых и долгих усилий, на какие хватает мужества у немногих. А из этого следует, что почти все мы без изъятия — рабы закона детерминизма, что почти всеми нами руководят тщеславие, необузданные влечения, и что, следовательно, огромное большинство людей, по выражению Николя,

«марионетки», которых надо жалеть. Какую бы вам ни сделали гадость, вы должны отвечать на нее невозмутимым спокойствием, —единственный ответ, какой подобает истинному философу. Нам понятен, конечно, гнев Атьцеста (в скобках сказать, совершенно бесплодный): Альцест ведь верит в свободу воли, но мы прел-почитаем ясное спокойствие Филинта:

... Qunigu'a chague pas je puisse voir paraltre.
En courroux, comme vous, on ne me voit point etre...
Et mon esprit enfin n'est pas plus offense
De voir un homme fourbe, injuste, interesse,
Que de voir des vautours affames de carnage,
Des singes malfaisants et des loups pleins de rage .

Вот какой должна быть точка зрения мыслителя. Если он мстит, его мщение должно быть исполнено самого глубокого спокойствия. Да, собственно говоря, мыслящий человек и не мстит. Он только старается оградить себя на будущее время, показывая нарушителей своего покоя так, чтобы впредь всякий знал, что лучше его не тревожить. И вместо этого невозмутимого, спокойного презрения что же мы видим? Самый легкий укол самолюбию человека, всякая относящаяся к нему грубость мгновенно, помимо его воли, вызывают физиологический толчок. Сердце бьется неправильно, конвульсивно; большая часть его сокращений неполны, судорожны, болезненны. Кровь приливает к мозгу неровными скачками, вызывая целый поток жестоких мыслей о мщении, нелепых своею преувеличенностью, неисполнимых; а ум беспомощно созерцает эту картину чисто животной разнузданности, которую он не может не порицать. Чем же объяснить такое бессилие? Да именно тем, что необходимым antecedentом всякой эмоции является физиологический толчок, утробное волнение, над которым воля не властна. Будучи бессильны остановить это органическое волнение, мы не можем и помешать ему выразиться: мы не можем сделать так, чтобы выражение его в психологических терминах не овладело нашим сознанием.

Нужны ли примеры? Не имеем ли мы в проявлениях чувственности достаточно яркого доказательства органического происхождения психических волнений? Разве временное умопомешательство, автоматизм наших мыслей, не прекращается разом с устранением его предполагаемой причины? Нужно ли возвращаться к случаю проявления страха, разобранному нами выше? Не ясно ли без всяких примеров, что мы и должны быть бессильны в борьбе с нашими чувствами, так как коренные, порождающие их причины — причины физиологического порядка — ускользают от нашей власти? Я позволю себе привести один случай из моего личного опыта: этот случай окончательно уяснит читателю все неравенство борьбы между мыслью и эмоциональным, утробным волнением. Несколько дней тому назад пришли мне сказать, что мой ребенок, ушедший с утра к одним знакомым, не приходил туда. Сердце у меня сейчас же забилося

быстрей. Но я старался себя урезонить и скоро нашел правдоподобное объяснение отсутствия ребенка. Тем не менее тревога окружающих и высказанное кем-то предположение, что ребенок мог играть на берегу речки (протекающей недалеко от моего дома, очень быстрой и глубокой), в конце концов заставили-таки меня взволноваться. И я понимал, что злосчастная гипотеза насчет речки невероятна до смешного, вот как только я ее услышал, мое волнение — физиологическое волнение, о котором я говорил выше, — дошло до последних пределов: сердце билось так, что, казалось, оно вот-вот разорвется; в коже на голове я испытывал острую боль, как будто каждый волос поднялся дыбом; руки дрожали и самые сумасшедшие мысли проносились в мозгу, несмотря на все мои усилия отделаться от испуга, нелепость которого я признавал. Через полчаса ребенок отыскался, но сердце мое продолжало отчаянно биться. И курьезная вещь — как будто волнение мое, которого я не желал признавать, обманутое в своих расчетах такой обыкновенной развязкой, захотело во что бы то ни стало взять свое, на чем-нибудь излиться (и так как один и тот же аппарат служит для проявлений гнева и сильного беспокойства), — я напустился на служанку и сделал ей сцену. Впрочем, выражение огорчения на лице бедной девушки тотчас заставило меня сдержаться, и я решил предоставить буре улечься своим порядком, на что потребовалось некоторое время.

И каждый, кто даст себе труд произвести над собой подобные наблюдения, придет к печальному выводу, что мы бессильны в открытой борьбе с нашими чувствами.

3. Вот мы и прижаты к стене. Достигнуть власти над своим «я» — задача невозможная: это ясно. Заглавие книги бессовестно лжет. Воспитание воли, самовоспитание — все это одни слова, служащие приманкой. В самом деле, с одной стороны я властен только над моей мыслью. Разумное применение детерминизма делает меня свободным, дает мне возможность управлять законами ассоциации идей. Но ведь идея бессильна. Слабость ее просто смешна перед стихийной мощью тех грубых сил, с которыми мне предстоит бороться.

С другой стороны, если чувства всемогущи, если они по своему произволу управляют восприятиями, воспоминаниями, суждением, размышлением; если сильное чувство может даже убить или вытеснить другое, слабейшее; если, одним словом, чувство является по отношению ко мне неограниченным деспотом, то оно ведет себя деспотом до конца и не признает ни велений моего разума, ни контролирующей власти моей воли.

Мы богаты средствами лишь там, где эти средства бесполезны. Конституционное правление, которому подчинена наша психическая жизнь, облакает неограниченной властью необузданную, недисциплинированную чернь, разумные силы представляют власть только по имени: они имеют только совещательный, но не решающий голос.

Итак, нам остается одно: сложить оружие, отчаявшись в успехе, бросать свой меч и щит, покинуть поле битвы и, покорившись судьбе, искать убежища

в фатализме, где мы найдем, по крайней мере, утешительное объяснение всем нашим гнусностям, нашему малодушию и лени.

4. К счастью, наше положение не так безнадежно, как это могло показаться. Один существенный фактор, который мы до сих пор проходили молчанием, может дать уму человека ту силу, которой ему недостает. Великий освободитель наш — время — в конце концов даст нам возможность делать то, чего мы не можем сделать теперь. Непосредственной нравственной свободы у нас нет, так мы заменим ее искусственной свободой; мы добудем ее хитростью, с помощью посредников; мы подойдем к ней окольной дорогой.

5. Но прежде чем мы приступим к изложению метода, который приведет нас к самоосвобождению, небесполезно будет подвести итоги нашим ресурсам в этом смысле, не пренебрегая ни одним, и, памятуя, что мы бессильны или почти бессильны над тем, чем обуславливается сущность наших эмоций, посмотреть, не можем ли мы добиться некоторого успеха, если откроем способы влиять на их подчиненную служебную сторону.

Физиологический аппарат, обуславливающий сущность эмоции и совмещающий в себе большую часть органов (главным образом — сердце), не подчиненных нашей воле, — нам не подвластен; мы не можем влиять на него прямым путем — путем психического воздействия. Здесь мы поможем действовать только внешними средствами, принадлежащими к области терапии.

Мы можем усмирить приступ сильного гнева приемом дигиталиса, который имеет свойство регулировать движения сердца. Мы можем положить предел самому сильному половому возбуждению, удалить семенную жидкость — причину волнения. Мы можем побороть нашу лень, физическое и умственное оцепенение, с помощью кофе. Но кофе ускоряет биение сердца, делает его неровным, спазматическим, у очень многих людей предрасполагает к раздражительности. У большинства нервных людей он вызывает одышку, ощущение сжатия и дрожи в руках и ногах, а у иных возбуждает чувство тоски, беспричинную тревогу и даже ни на чем не основанный страх.

Впрочем, немного надо времени, чтобы перечислить наши ресурсы с этой стороны, и в результате нам придется сознаться, что прямое наше влияние в той области, которая составляет сущность эмоций, так ничтожно, что едва ли стоит на нем останавливаться.

Совсем иное дело та сторона эмоционального аппарата, которая выражается в движениях мышц. Над внешними проявлениями эмоции мы полные господа, ибо от нас зависит сделать или не сделать то или другое движение. Связь между чувством и внешним его выражением постоянно поддерживается. А это общий психологический закон, что если два элемента часто ассоциируются между собой, то они приобретают свойство взаимно вызывать друг друга.

Этот закон и имели в виду самые глубокие мыслители из психологов-практиков, занимавшихся воспитанием чувств — Игнатий Лойола так же, как и Паскаль, — когда они рекомендовали верующим внешние проявления веры, как в высшей степени способствующие приведению души в соответственное эмоциональное состояние. Известно, что во время гипнотического сна положение тела, соответствующее той или другой эмоции, неизбежно вызовет и самую эмоцию. «Какое бы положение вы не придали телу пациента с целью выразить этим положением какую-нибудь определенную страсть, но раз только мышцы, участвующие в проявлениях этой страсти, пришли в движение, в тот же миг возбуждается и самая страсть, и весь организм мгновенно ей отвечает»¹. Дутальд-Стьюарт рассказывает, что, по словам Бурке, тот часто испытывал, как в нем разгорался гнев по мере того, как он подражал внешним признакам этой страсти. Да разве мы не знаем, как часто собаки, дети и даже взрослые люди, начавши бороться шутя, кончают тем, что серьезно рассердятся? Разве мы не знаем, как заразительны слезы и смех или каким несчастьем бывает для семьи, какое уныние наводит на всех угрюмый, скупающий человек? А китайский церемониал, так сильно способствующий поддержанию авторитета верховной власти, разве он не был сознательно установлен Конфуцием, который думал, как и Лойола, что известные движения должны внушать соответствующие им чувства? А католические обряды с их церемониалом, имеющим такое глубокое психологическое значение, разве не делают они сильного впечатления даже на маловерующих людей? Пусть попробует верующий католик не податься чувству глубокого благоговения в тот момент, когда по окончании пения, среди мертвой тишины все верные, как один человек, простираются ниц. Или кому из нас не случалось испытать на себе, как может иногда развеселить человека, удрученного самыми тяжкими заботами, посещение веселого, жизнерадостного приятеля?.. Что пользы, впрочем, нанизывать примеры? Каждый и сам наберет их достаточно, если захочет поискать.

К несчастью, мы можем называть только уже существующие чувства. Чувство можно разбудить, оживить, но не создать. Воскрешенное таким образом чувство остается довольно слабым. Двигатель, действующий на него извне, может считаться лишь драгоценным подспорьем. Он служит скорее для того, чтобы поддерживать чувство при полном свете сознания. По отношению к чувству он играет такую же роль, как движения, и в особенности записывание, по отношению к мысли, т.е., как мы уже сказали, роль драгоценного подспорья, которое не дает посторонним впечатлениям отвлекать наше внимание и удерживает на первом плане цепь ассоциаций идей, всегда готовую разорваться и уступить свое место новым ассоциациям. Но рассчитывать возбудить в душе чувство, еще не зародившееся или даже находящееся только в зародыше, значит не знать, что основной элемент всякой эмоции нам не подвластен.

И обратно: как бы сильно ни захватило нас чувство, страсть, одним словом — эмоция, мы можем не позволить ей вылиться наружу. Под влиянием гнева человек сжимает кулаки, стискивает челюсти; его личные мускулы

напрягаются, дыхание становится прерывистым: иначе гнев не может выражаться. Но — quos ego! Я могу заставить свои мускулы распусться, приказать своему рту, чтобы он улыбался; я могу умерить судорожные сжатия дыхательных путей. Но если я не успел погасить первые вспышки зарождающейся, еще слабой эмоции, если я дал ей развиваться, все мои усилия могут остаться бесплодными, в особенности, если ко мне не подоспеет на помощь внутренний союзник — какая-нибудь другая эмоция: чувство собственного достоинства, боязнь скандала и т.п. То же можно сказать и об эмоции чувственности. Если ум является соучастником желания, если внутреннее противодействие слабеет, то противодействие мышц, посредников желания, длится недолго. Общее правило: блокада неприятеля никогда не приведет к победе, как бы безукоризненно ни велись осадные работы, если осаждающие войска чувствуют, что начальники их работают и готовы идти на уступки. Для того, чтобы мускулы могли с успехом противодействовать страсти, их должна поддерживать союзная армия всех внутренних сил.

Из вышеизложенного следует, что, действуя извне, мы не можем оказать большого влияния на наше внутреннее «я». Возбудить в душе или же парализовать, сделать бессильным и в особенности уничтожить то или другое чувство прямым воздействием воли мы не можем. Все эти внешние средства могут служить для нас только добавочной поддержкой, — поддержкой без сомнения драгоценной, но которая окажется пригодной лишь в том случае, если она будет действовать заодно с каким-нибудь могучим внутренним двигателем.

6. Итак, если б мы были ограничены настоящим, если б мы жили изо дня в день без предвидения, всякая борьба была бы бесполезна. Мы были бы бессильными зрителями происходящей в нас распри идей, чувств и страстей. Картина была бы не лишена интереса, но ум созерцал бы ее без надежды, заранее уверенный в своем поражении. Быть может, и это самое большее, он мог бы, как любители пари на скачках, находить удовольствие в том, чтобы предсказывать исход борьбы; быть может, в конце концов он достиг бы того, что предсказания его были бы всегда безошибочны. Да, впрочем, у большинства людей ум и не играет другой роли: почти все мы — жертвы обмана, к которому приводит нас наше предвидение. Мы считаем себя свободными, потому что предвидим, что должно случиться, а случается именно то, что мы хотим, чтобы случилось. Ум человеческий, стыдясь своего бессилия, любит убаюкивать себя сладкой иллюзией своей неограниченной власти. Но в действительности влечения обдeldывают все дела без него, и на исход борьбы он имеет не больше влияния, чем какой-нибудь метеоролог, безошибочно предсказывающий погоду, — на степень насыщения атмосферы.

Но то, что составляет правило и заслуженное возмездие для тех, кто не прилагал никаких усилий завоевать себе свободу, не есть абсолютное, общее правило. У себя мы можем предписывать свои законы. Время, будущее поможет нам завоевать ту свободу, в которой нам отказывает настоящее. Время — великий наш освободитель. Время — это высшая власть, освобождающая ум, дающая ему возможность сбросить с себя иго страстей и

животного естества. Ибо всякая эмоция есть сила слепая и грубая, и люди, которые плохо видят свой путь — будь они хоть Геркулесы по нравственной силе, — должны позволить вести себя людям, которые видят его хорошо. Пользуясь поддержкой времени, приобретая мало-помалу сноровку, ум человеческий, путем спокойной, терпеливой и настойчивой тактики, постепенно, но несомненно овладеет властью и даже диктатурой, — диктатурой, которую будут ослаблять разве только леность владыки да кратковременные восстания подданных.

Итак, время — тот союзник, который может привести нас к нравственной свободе. Нам предстоит теперь исследовать сущность и последствия такого самоосвобождения путем времени, а затем мы перейдем к практическим средствам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Возможность владычества ума

1. В деле достижения власти над своим «я» самое важное — установить прочную связь привычки между идеями и поступками так, чтобы непосредственно за возникновением мысли в уме следовал поступок с отчетливостью и силой рефлекса. Но мы уже убедились в той печальной истине, что свойство вызывать поступок с такою почти автоматической быстротой принадлежит только чувству. Цепь ассоциации между идеей — идеей необходимости работать, например, — и выражением ее в действии не может быть скована без огня. Нужна вся теплота эмоции, чтобы эта спайка была достаточно крепка.

Но при соблюдении последнего условия она может приобрести чрезвычайную прочность. Что такое, например, воспитание, как не возбуждение к деятельности могущественных чувств с целью выработать привычку мыслить и действовать, т.е. с целью организовывать в уме ребенка крепкие ассоциации между идеями и идеями, идеями и чувствами, идеями и поступками? Действуя сначала под влиянием страха, самолюбия, желания сделать приятное родителям, ребенок мало-помалу овладевает своим вниманием, сдерживает свою склонность шуметь и жестикулировать, старается быть опрятным, учиться; другими словами, для того, чтобы порвать связь между известными влечениями и их естественным выражением и установить новую, дотоле не существовавшую, прочную связь между определенными идеями и поступками, воспитатель прибегает к посредничеству могущественных эмоций.

Религиозное чувство в такие эпохи или в такой среде, где вера очень сильна, создает массу энергии, потому что составляющие его основные, элементарные чувства — и сами по себе очень сильные — сплочены еще в крепкий союз. Боязнь общественного мнения, преклонение перед авторитетом лиц, облеченных ореолом святости, цикла воспоминаний, имеющих своим источником воспитательную среду, страх вечной кары, надежда на вечную награду, страх Бога, карающего судии, всевидящего, вездесущего, читающего самые сокровенные наши помыслы, — все это как бы сливается в одну эмоцию, в высшей степени сложную, но кажущуюся нашему сознанию простою. Мысли и поступки накрепко спаиваются между собой в жарком пламени этого могучего чувства. Так, например, у высших натур между верующими оскорбление не вызывает гнева, до такой степени искренно у них чувство смирения, и с такой быстротой могут они вызывать его в своей душе. Целомудрие не стоит им даже борьбы, — до такой степени подавлены, очищены, убиты в них чувственные вожделения, воспаляющие мозг человека, стоящего на более низком нравственном уровне. Да, религиозное чувство дает нам превосходный пример, на котором мы можем воочию убедиться, что самые могущественные влечения могут быть побеждены одной только силой противодействия более высокой эмоции.

Ренан говорил: «Я чувствую, что всей моей жизнью управляет вера, которой у меня уже нет: вера имеет ту особенность, что продолжает действовать, даже когда она уже умерла». Но эта особенность не есть исключительное свойство веры. Всякое искреннее чувство, долго служившее связующим звеном между известными идеями и поступками, может исчезнуть: чувство исчезло, но связь остается — совершенно как в силлогизме, где средний член пропадает, раз вывод закончен.

Но прочные ассоциации, которые так легко завязывают чувство, могут быть созданы и идеей, если она заручится содействием чувств. Такого рода ассоциации — вещь самая обыкновенная: при той системе воспитания, какая применяется в наших семьях и лицах, родители и наставники могут, как мы уже видели, создавать ассоциации по своему произволу. То же можно сказать и о религии.

Совсем иное дело — самовоспитание. Здесь задача усложняется: здесь нужно глубокое знание психической природы человека и его ресурсов для этого дела. Выходя из лица, молодой человек, которого до тех пор контролировали родители или наставники, от которого правила заведения требовали совершенно определенной, регулярной работы, оказывается в один прекрасный день один в большом городе, без надлежащей подготовки, без надзора, часто без советчика, а главное — без строго определенной цели; ибо готовиться к экзамену или знать, что все твоё время распределено по часам, — это две совершенно разные вещи. Нет больше ни наказаний, ни наград; единственное сдерживающее начало — да и то слабое, отдаленное — это боязнь провала на экзамене в конце года.

Но даже и тут нет места серьезному опасению, так как большинство студентов почти не работает и все-таки переходит. И каждый утешает себя мыслью: «Не беда: за месяц до экзамена выучу».

Чтобы обеспечить преобладание идеи при таких неблагоприятных условиях, надо найти ей поддержку в тех чувствах, какие уже имеются наяву у студента. За это дело надо взяться умеючи, но прежде мы должны подвести подробный итог нашим ресурсам и поближе познакомиться с теми способами, какими создаются необходимые ассоциации между идеями и поступками.

2. Рассмотрим сначала взаимные соотношения идеи и эмоциональных сил, благоприятствующих делу нравственного самоуправления.

Философы, к сожалению весьма немногочисленные, изучавшие взаимные соотношения ума и чувства, склонны вообще различать два рода познания: познание умственное в собственном смысле и познание сердцем¹ или чувством.

Такая форма изложения основной истины совершенно неправильна. Всякое познание идет от ума. Но когда познание сопровождается эмоцией, оба элемента — эмоциональный и интеллектуальный — тесно сливаются, и чувство — элемент, так сказать, более объемистый и более интенсивный, — выступает на первый план в нашем сознании, оставляя в

тени сопутствующую ему идею. Мы видели выше примеры, когда идея, бывшая раньше холодной, внезапно возбуждает такую сильную эмоцию, что с этой минуты идея уже не может возникнуть в сознании, не вызвав тотчас же воспоминания эмоции, — воспоминание, которое в сущности есть та же эмоция, только в зародыше. Я по крайней мере могу сказать о себе, что со дня случая, оставившего во мне такое сильное впечатление², стоит мне только представить себя скользящим по склону крутого обрыва, как я уже чувствую головокружение. Ассоциация между идеей и эмоцией, раньше мне неизвестной, на мое несчастье сделалась автоматичной с одного раза. Спрашивается, можно ли подобные ассоциации создавать искусственно? Если бы ответ был отрицательный, то не могло бы быть и речи о воспитании воли. Однако ж мы только что видели, что всякое воспитание основано на этой возможности. Но вопрос: может ли молодой человек, студент, вполне располагающий собой, никому не обязанный отчетом, попытаться за свой собственный страх и счет сделать то, что делали для него родители и наставники? Если нет, то самовоспитание — велик невозможная.

Бесспорно, что такие ассоциации создаются нелегко. Несомненно и то, что они требуют времени и настойчивых усилий. Но что они возможны, это нам кажется еще более несомненным. В этой возможности наше освобождение. Утверждать, что она существует, значит утверждать, что мы свободны. И мы, не колеблясь, говорим да, мы свободны. Каждый из нас может, если захочет, связать с представлением, например, неприятной работы такие чувства, которые с течением времени сделают ее приятною. Мы говорим: чувства, а не чувство, потому что у человека, занимающегося умственным трудом, идея ассоциируется обыкновенно не с одной, а с многими эмоциями. Кроме того, такие ассоциации редко бывают результатом единичного опыта, как в вышеприведенном примере. Образование ассоциации напоминает процесс рисования: рисунок создается отдельными, последовательными штрихами. Каждое новое повторение ассоциации, в силу закона привычки, начинающего действовать с первого же раза, оставляет в нашем сознании как бы общий набросок рисунка; решительные штрихи, сделанные в момент полной энергии, закончат рисунок в главных чертах, а затем постепенные терпеливые подправки дадут ему последнюю отделку.

Этот медленный, кропотливый труд необходим, ибо работа мысли, — когда последняя работает одна, без поддержки, — до такой степени противоречит человеческой природе, молодому человеку бывает так трудно подолгу напрягать внимание, что для того, чтобы он мог успешно бороться с тем чувством отвращения, какое возбуждает в нем это состояние неподвижности и в особенности сосредоточение внимания на голой идее, он должен приковать к ней крепкой цепью ассоциации все эмоциональные силы, которые могут поддержать его волю в ее противодействии роковому могуществу человеческой косности и лени.

Так, если мы проследим, что поддерживает нашу энергию в долгие часы того утомительного и скучного труда, какого требует, например, обработка длинного сочинения (если мы отдаемся ему всем сердцем), то увидим, что тут

действует целая могущественная коалиция чувств, направленных к одной и той же цели: во-первых, живое ощущение собственной энергии, непосредственно вытекающее из самого процесса труда; затем глубокая радость познания истины, являющаяся наградой размышления; далее чувство собственного превосходства, какое дает нам преследование возвышенной цели; ощущение силы, физического благосостояния, являющееся результатом направленной и с начала до конца полезной деятельности. Прибавьте к этим могущественным двигателям сознание того уважения, какое вы возбуждаете к себе со стороны людей праздных, следящих за вами частью с полным сочувствием, частью не без примеси зависти; глубокое наслаждение чувствовать, как постепенно расширяется ваш умственный горизонт, не говоря уже об удовлетворении самолюбия, честолюбия, и об удовольствии видеть радость дорогих вам людей. Прибавьте, наконец, более высокие двигатели: любовь к человечеству, сознание той пользы, какую вы можете принести молодежи, блуждающей в потемках, потому что никто до сих пор не указал ей дороги к высшему искусству — искусству управлять собой. В эгоистических чувствах настоящего и будущего, в чувствах альтруистических, бескорыстных, мы имеем целое сокровище влечений, эмоций, страстей, которые мы можем призвать к себе на помощь, которые, по нашему желанию, сольются в одну могучую, до этого разбросанную силу и сделают то, что цель, казавшаяся нам раньше холодной и отталкивающей, превратится в живую, привлекательную цель. Весь наш энтузиазм, всю теплоту нашего сердца мы отдадим этой цели; мы разукрасим ее, как украшает любимую девушку влюбленный своими грезами, пылом своих желаний, с той разницей, что у влюбленного такое перенесение собственных иллюзий на их объект совершается бессознательно, а у нас оно будет сознательным, сделается по нашему желанию и только с течением времени станет самопроизвольным.

Как! Скряга в своей любви к деньгам доходит до того, что жертвует ей своим здоровьем, удовольствиями, даже честностью, а мы не сможем настолько полюбить такое благородное дело, как умственный труд, чтобы заставить себя жертвовать ему ежедневно по несколько часов, которые мы отнимем у своей лени! Какой-нибудь торговец поднимается изо дня в день с пяти часов утра и все свое время до девяти вечера отдает в распоряжение своих клиентов, поддерживаемый одной только надеждой, что когда-нибудь под старость он переедет в деревню и заживет на полном покое, а наша молодежь остановится перед перспективой проводить ежедневно каких-нибудь пять часов за рабочим столом, чтобы обеспечить себе в настоящем и будущем все неисчислимые радости высокой умственной культуры! Если бы даже сама по себе работа была неприятна, она всегда приятна, — а когда ее делают от чистого сердца — то можно быть уверенным (закон ассоциаций идей нам в этом подтверждение), что сила привычки скоро облегчит тягость усилия и в конце концов сделает его приятным.

В сущности мы имеем самую широкую возможность, пользуясь содействием ассоциаций, делать для себя привлекательным то, что раньше

нас отталкивало. И прежде всего мы можем обогащать, делать более сложными чувства, благоприятствующие развитию нашей воли, мы можем усложнять их до неузнаваемости. Взять хоть чувство мистика, у которого, по выражению святого Франциска Сальского, «душа исчезает и растворяется в Боге». Кто бы узнал в этом сладостном чувстве синтез того страха первобытного человека, когда без одежды, безоружный перед лицом окружающей его, неизмеримо сильнейшей природы, он испытывает живое чувство своего бессилия и ужаса перед ее таинственной мощью? Да одним словом, начиная с того чувства, какое вызывается в нашей душе сознанием краткости человеческой жизни, — «этого ускользания часа за часом, этого незаметного, но если вдуматься — безумного бега, этого бесконечного дефилирования крохотных секунд, которые толкают друг друга и гложут тело и жизнь человека» (Мопассан), — нить ни одного чувства, которое не могло бы прийти нам на помощь и научить нас презирать все низменное и прошлое, что отвлекает нас от нашей задачи.

Конечно, мы не можем ни возбудить, ни создать такое чувство, которого нет в нашем сознании. Но я не думаю, чтобы в человеческом сознании могли отсутствовать элементарные чувства. Во всяком случае, если и существуют люди, так резко отличающиеся от своих ближних, то мы обращаемся не к ним. Наша книга — не руководство тератологии; она предназначена для нормальных молодых людей. К тому же таких чудовищ и нет. Встречали ли вы когда-нибудь человека, у которого жестокость была бы отличительной чертой, который никогда, ни при каких обстоятельствах не испытал бы чувства жалости — ни к матери, ни к отцу, ни даже к самому себе? Мы говорим: никогда, потому что раз такие движения сердца, как жалость, бывают у человека хоть изредка, то значит они возможны и всегда будут возможны. А так как мы знаем («Основы Психологии» Спенсера) с одной стороны, что самое сложное, самое высокое чувство есть лишь синтез тесной ассоциации многих элементарных чувств, и так как с другой стороны мы видели, что энергичное и продолжительное внимание, направленное на любое душевное состояние, стремится выдвинуть последнее на первый план, осветить его полным светом сознания и, следовательно, дает ему возможность возбудить ассоциированные с ним состояния и сделаться центром душевной организации, то мы утверждаем — каждый может проверить это на себе, — что от нас зависит укрепить, поощрить, так сказать, скромное, робкое чувство, чувство, которое, если можно так выразиться, едва смело дышать, стесненное, униженное своими сильными соседями, и прозябало незаметное, как те, невидимые при свете солнца, звезды, что блещут на небе и днем, хотя невежды и не подозревают их присутствия. Таким образом внимание, которым мы располагаем, заступает место той творческой силы, которой мы лишены.

Кроме того: чем объясняется успех романов и главное то, что все их понимают? Именно тем, что каждый роман возбуждает к деятельности какую-нибудь группу чувств, для проявления которых нет места в обыденной жизни. Это та же игра в войну за отсутствием «настоящей» войны. И если

большая часть общества может читать и понимать романы великих мастеров, не служит ли это доказательством, что у большинства читателей есть чувства, но чувства эти дремлют, выжидая только случая, чтобы проснуться и выступить при полном свете сознания? Было бы странно, если бы, вполне располагая своим вниманием и воображением, мы не могли сделать с собой то, что делает с нами романист. И мы можем. Я, например, могу по своему желанию искусственно возбуждать в себе чувство гнева, умиления, энтузиазма, — словом, то чувство, какое мне нужно для достижения желаемых результатов.

Разве мы не знаем примеров, что научное открытие создавало (в общеупотребительном смысле этого слова) совершенно новые чувства? Можно ли себе представить более холодную на первый взгляд идею, чем картезианство? А между тем, зародившись в пылкой душе Спинозы, эта абстрактная теория создала в ней целую новую систему чувств, дотоль разбросанных, и, сгруппировав их вокруг жившего в нем глубокого чувства человеческого ничтожества, вызвала появление на свет самого страстного, самого восхитительного метафизического романа, какой мы только имеем. Можно ли сказать, что чувство любви к человечеству рождается с человеком? Не есть ли это чувство продукт сознания, новый синтез, — синтез, обладающий ни с чем не сравнимой силой? И не ясно ли, что Милль был прав, когда сказал: «культ человечества может овладеть всей человеческой жизнью, окрасить собой мысль, чувство, поступки, захватить всего человека с такой силой, что сила религии перед ней будет лишь слабым намеком, как бы предвкушением ее».

И притом направлять и соединять в одно целое беспорядочные элементарные чувства, придавая им точную, ясную форму, разве это не прямое дело ума? Ведь всякая эмоция, всякое желание само по себе смутно, слепо и, следовательно, бессильно. За исключением инстинктивных чувств (таких, как гнев, страх и т.п.), выливающих наружу самопроизвольно, большая часть эмоций требует поддержки ума. В душе возникает чувство страдания, недовольства и ум объясняет его точный, истинный смысл. Роль ума — изыскивать способы удовлетворять желанию. Представьте, что вас захватила метель на Монблане; вы страдаете от холода, томитесь страхом ужасной, близкой смерти: ведь ум ваш, и только он один, подскажет вам мысль вырыть в снежной стене пещеру, где вы переждете, пока минует опасность. Или предположим, что вас, как Робинзона Крузе, выбросило на необитаемый остров, что сделают для вас все ваши чувства: отчаяние, страх, жажда спасения, если ум не придет к ним на помощь? Человек, положим, терпит нужду и желал бы выйти из своего тяжелого положения и тут опять-таки ум будет руководить его действиями, даст им прямое, определенное направление. Сравните то смутное, неопределенное волнение, какое вызывает половое влечение у молодого человека, еще чистого и невинного, с тем напряженным, отчетливым желанием, каким оно становится после первого опыта, — и вы поймете, какой поддержкой является ум для эмоций. Итак, для того чтобы эмоции, желание могло приобрести полную живость, нужно

только, чтобы предмет желания сделался вполне ясен уму, так, чтобы все его приятные, соблазнительные или просто полезные стороны выступили в сознании выпукло и ярко.

Итак, в силу того только факта, что мы существа разумные и можем предвидеть (ибо в сущности знать — это и значит предвидеть), мы можем утилизировать все имеющиеся в нашем распоряжении, рассмотренные выше средства для укрепления полезных нам чувств. Наше прямое, внешнее влияние над эмоциями невелико, но мы можем дать ему очень широкое распространение разумным применением закона ассоциаций.

Ниже мы увидим, что можно удвоить это влияние, окружить себя такою средой, которая способствовала бы развитию известных эмоций, — будь это семья, товарищество, знакомства, чтение, примеры и т.д. Впрочем нам еще придется рассматривать подробно этот косвенный способ воздействия человека на свое «я» (Отдел V).

Вышеизложенные доводы должны нас одобрить: теперь у нас есть надежда на успех. Если для того, чтобы идея могла слиться с поступком, ей нужна теплота эмоции, то (теперь это уже ни для кого не может составлять вопроса) мы можем вызывать эту теплоту там, где она нам нужна, — вызывать не помощью *fiat'a*, но разумным применением законов ассоциаций. Как видите, первенство ума уже не кажется более таким невозможным.

Но нам еще предстоит рассмотреть поближе взаимные соотношения идей и эмоций. Чувство — состояние тяжеловесное, объемистое, трудно возбуждаемое. Следовательно, можно предсказать а priori — что подтверждается и опытом, — что чувство присутствует в сознании сравнительно редко. Ритм его появлений и исчезновений очень широк. Эмоция имеет свои приливы и отливы. В промежутках между ними душа пребывает в состоянии покоя, аналогичном тому состоянию моря, когда вода стоит в нем на одинаковой высоте. Такой перемежающийся характер эмоций дает нам широкую возможность упрочить для себя торжество разумной нравственной свободы. Собственно говоря, и мысль по природе своей подвержена колебаниям: и она тоже, как чувство, постоянно идет то на убыль, то на прибыль, но взрослый молодой человек, уже прошедший суровую дисциплину труда и воспитания в семье и в учебном заведении, имеет над своей мыслью довольно сильную власть. Он может подолгу поддерживать в своем сознании те представления, какие ему нужны. Сравнительно с непостоянством эмоций устойчивость мысли очень велика. Во время прилива эмоциональной волны мысль стоит на стороже. Готовая утилизировать ее прибыль; во время отлива она может действовать активным путем. Она может воспользоваться своей временной диктатурой, чтобы подвинуть вперед оборонительные работы против врага и увеличить силы союзников.

Когда чувство начало идти на прибыль в нашем сознании (здесь речь идет только о чувствах, благоприятных для нашей задачи), мы должны, не теряя времени, спускать на воду нашу ладью; «чтобы принимать плодотворные решения, — говорит Лейбниц, — надо пользоваться добрыми движениями

сердца, ибо это голос Божий, который нас зовет». Каково бы не было союзное нам чувство, овладевшее нашей душой, воспользуемся им без промедления для нашего дела. Узнали мы об успехах товарища и почувствовали, что это известие прищипорило нашу колеблющуюся волю, — живей за работу! Соберем все свое мужество и скинем с плеч эту гору, которая вот уже несколько дней давит нас, терзает нас угрызением, неотступно стоит перед нами, потому что мы не в силах встретить неприятность лицом к лицу, но не в силах отделаться и от назойливой мысли о ней. Овладело ли нами чувство величия и святости труда, благодаря прочитанной книге, или просто мы ощущаем особенный прилив физической и умственной энергии, которая делает работу приятной, — живей за перо! Надо пользоваться такими моментами, чтобы приобрести прочные привычки, чтобы насладиться глубокими радостями плодотворной, производительной мысли так, чтобы память надолго сохранила их благоухание, чтобы испытать гордое сознание власти над собой.

Отступая при отливе, чувство оставляет после себя благодетельный ил — окрепшую привычку к труду, воспоминание радостей, которые он дает, и энергичную, твердую решимость.

Затем, когда чувство исчезло и наступило затишье, тогда диктаторская власть принадлежит идее, которая одна остается в сознании. Но идея, говорит Шпенгауэр, «это плотина, резервуар, куда, — когда открывается родник нравственности, — родник, который течет не всегда, — стекаются добрые чувства, и откуда — когда приходит время — они разливаются куда следует по отводным каналам». Смысл этого в том, что если идея и поступок связаны чувством, эта связь будет прочна, и что, с другой стороны, если идея часто ассоциировалась с благоприятными действием эмоциями, то — даже при отсутствии в данный момент этих эмоций — она может, в силу закона ассоциации, вынуждать их — правда, в слабой степени, но во всяком случае достаточной, чтобы вызвать поступок.

3. Теперь, когда мы рассмотрели взаимные соотношения идей и эмоций, благоприятствующих делу нравственного самоуправления, нам остается рассмотреть взаимные соотношения идей и эмоций, враждебных ему. Мы видели уже, что наше прямое влияние над эмоциями, желаниями, страстями крайне слабо, почти незаметно. Наша сила в косвенных средствах. Мы властны только над нашими мышцами и над ходом наших идей. Мы можем задержать внешнее проявление эмоций, можем заставить ее молчать. Придворные и люди светские, — часто те же придворные, только преклоняющиеся перед более тиранической и менее разумной властью, т.е. перед общественным мнением, — достигают высокой степени умения подавлять всякие внешние проявления своей ненависти, гнева, негодования, презрения.

С другой стороны, желание, влечение само по себе абсолютно, изолировано от внешнего мира: оно может выражаться только в движениях мышц. Гнев находит себе удовлетворение в нанесении оскорблений или

побоев; любовь — в ласках, объятиях, поцелуях. Но движения мышц в значительной мере зависят от нашей воли, и так как все мы можем мгновенно приказать нашим членам не слушаться страсти, то ясно, что мы можем развить эту способность до степени полного подавления всех внешних проявлений наших эмоций.

Так как всякое влечение, повинаясь закону сохранения силы, должно найти себе исход, то коль скоро влечение не может вылиться наружу, оно бросается внутрь, воспаляет мозг и производит беспорядочную сутолоку мыслей, которые, в свою очередь, возбуждают к деятельности ассоциированные с ними чувства. В этом-то смысле Паскаль и сказал, что «по мере того, как человек растет умственно, растут в нем и страсти».

Но не будем забывать, что направлять наши мысли зависит от нас, мы можем не дать пожару распространиться. Или, если мы чувствуем, что погасить его невозможно, мы можем перейти на сторону огня: мы можем, например, дать нашему гневу излиться в словах, в проектах мщения, в твердой уверенности, что мы опять овладеем собой, когда поток слов достаточно успокоит глупое и слепое волнение, вынуждающее нашу волю к благоразумному отступлению. Мы, так сказать, утомляем противника, прежде чем перейти в наступление.

Но в иных случаях мы можем начать и открытую войну. Мы видели выше, что влечение, мало-мальски сложное, нуждается в поддержке ума. так как оно всегда слепо. Влечение, если можно так выразиться, цепляется за идею. Это союз акулы, у которой зрение слабо, а обоняния совсем нет, с ее «лоцманом», указывающим ей добычу. С другой стороны, отличительное свойство всякой страсти, всякого желания. — то, что она обманывает ум, стараясь себя узаконить. Нет такого лентяя, который не приводил бы превосходных резонов для своей праздности и не нашел бы солидных возражений на совесть приняться за дело. Деспот не был бы деспотом, не будь он проникнут чувством своего превосходства над теми, кого он угнетает, и не изучи он до тонкости всех невыгодных сторон свободы. Страсть, узаконенная таким образом софизмами, становится опасной. Потому-то, когда мы хотим убить в себе чувство — акулу, мы должны целить в идею или группу идей, служащую ему лоцманом. Мы должны разбить, уничтожить софизмы, разъяснить иллюзии, которыми страсть окружает свой объект. И когда обман, наша ошибка станут нам ясны, когда мы поймем всю лживость посулов настоящего, всю обманчивость будущего, которое они нам рисуют, — тогда-то предвидение печальных последствий для нашего тщеславия, нашего здоровья, счастья, достоинства поднимет на борьбу с желанием (которое без этого заглушило бы все доводы, мешающие его осуществлению) другие желания, другие эмоции, которые станут преградой на его пути, и если не осилит его вполне, то оставят за ним сомнительную, в некотором роде позорную и непрочную победу. Смута, тревога заступят место спокойного сознания своей правоты. Таким-то образом на борьбу с самодовольной ленью мы можем выставить противников, которые, закалившись в этой борьбе, начнут под конец одерживать все более и более решительные и частые

победы. Припомните восхитительную фигуру Шерюбена в «Свадьбе Фигаро». «Я не знаю, что со мной!» — восклицает он. — С некоторых пор я чувствую волнение в груди; при одном виде женщины сердце мое замирает; слова: любовь, наслаждение заставляют его трепетать. Словом, потребность сказать кому-нибудь: я тебя люблю, сделалась во мне до того настоятельной, что я твержу эти слова один, бегая по парку, говорю их твоей возлюбленной, тебе, деревьям, ветру... Вчера я встретил Марселину»... Сюзанна (смеется). «Ха, ха, ха!» — Шерюбен. «А почему ж бы и нет? Она женщина, девушка. Женщина! Ах, как сладко звучит это слово!»

Так вот, если бы Шерюбен был способен в эту минуту понять свое заблуждение, если б он присмотрелся к Мар-елине поближе и сознал бы, как она безобразна, стара и глупа, его желанию был бы нанесен смертельный удар. И что бы его убило? Внимательное исследование, истина. Сильная страсть усыпляет дух критики; но если произвольное уничижение предмета страсти возможно, то ей грозит опасность погибнуть. У каждого ленивца, даже из тех, которые вооружены целым арсеналом софистических доводов, — бывают в известные моменты припадки трудолюбия, и в эти-то моменты все преимущество труда над праздностью для счастья человека выступает с поразительной яркостью. Такие моменты делают то, что человек уже не может продолжать вести праздную жизнь, не чувствуя угрызений.

То, что возможно, когда софизмам противопоставляется истина, невозможно и в случаях, представляющихся на первый взгляд более трудными, а именно, когда софизмам приходится противопоставить произвольную, сознательную ложь — или что еще трудней — когда оказывается нужным сплести целую сеть лжи, полезной для дела нравственного самоуправления, чтобы противопоставить ее враждебной ему истине.

Ясно, что произвольная ложь может иметь влияние на наши поступки только в том случае, когда мы ей верим. Если такая ложь одна пустая формула, «попугайство», она ни к чему не послужит. Но здесь нам возразят, пожалуй, с насмешкой: «Как! Разве может человек солгать себе самому? Солгать сознательно, обдуманно и потом поверить в эту ложь? Да ведь это абсурд!» — Да, на первый взгляд абсурд, но абсурд, вполне понятный для того, кто размышлял и знает, какие неисчерпаемые ресурсы для дела нравственного самоосвобождения дают нам законы внимания и памяти.

В самом деле, разве это не общий закон памяти, что всякое воспоминание, если оно от времени до времени не освежается, утрачивает свою отчетливость, становится смутным, бледнеет и наконец совершенно исчезает из обихода нашей памяти? С другой стороны, мы в значительной мере располагаем нашим вниманием. А из этого следует, что мы можем убить в себе любое воспоминание только тем, что не позволим себе к нему возвращаться; и обратно: мы можем придать ему в нашем сознании ту степень интенсивности, какую хотим, усиленно и часто направляя на него наше внимание. У всех людей умственного труда вырабатывается способность помнить только то, что

они хотят помнить. Все, к чему мы не возвращаемся постоянно, о чем мы не хотим больше думать, исчезает из нашей памяти окончательно и бесследно (конечно за некоторыми, немногими исключениями).

Лейбниц хорошо понимал, какое значение может иметь этот закон для человека, когда тот хочет выработать себе в будущем убеждение, которого он не имеет. «Мы можем — говорит Лейбниц — уверить себя в том, чему нам хочется верить, отвлекая наше внимание от того, что нам неприятно, и направляя его на то, что нам нравится; и по мере того как мы все чаще рассматриваем доводы симпатичного нам мнения, оно кажется нам все более и более верным». Всякое убеждение по необходимости является результатом доводов, присутствующих в сознании. Но чтобы собрать эти доводы, надо в них прежде, так сказать, разобраться. И вот в этой-то разборке мы и можем, если нам этого хочется, сфальшивить двояким путем. Во-первых, от нас зависит оставить наше наследование неполным, совсем не рассматривать некоторые доводы, хотя бы даже и важные. Всякое наследование требует известного умственного усилия, а лень до такой степени нам свойственна и привычна, что ничего не может быть в этом случае легче, как остановиться на полпути. А если еще при этом мы боимся натолкнуться на такие доводы, которые придут нам не по вкусу, тогда оно становится уже и совсем легко. Затем, укоротив таким образом работу исследования, мы можем, уже при взвешивании доводов за и против, увеличить вескость тех из них, которые нам подходят, так как от нас ведь зависит прикинуть наше желание на ту или на другую чашку весов. Если молодой человек любит девушку и решил жениться на ней, он не станет наводить справки об ее родителях, об источниках их состояния и т.д. Начните доказывать ему, что эти источники сомнительны, — он и слушать не станет. Какое ему дело? Разве девушка может быть ответственна за вину своих родителей? И наоборот, если ему хочется освободиться от стеснительных уз, от опрометчивого обещания — последствия увлечения и неопытности, он будет неумолим по вопросу об ответственности детей за отцов — вплоть до прапращуров.

Да, доводы, которыми мы себя убеждаем, — не то, что гири весов, имеющие всегда одинаковый вес. Как нуль, два нуля, поставленные после цифры, увеличивают число в десять, во сто раз, так и довод, увеличенный весом того или другого чувства, получает совершенно разную ценность. А так как мы в значительной мере располагаем ассоциациями наших умственных состояний, то и можем, следовательно, придавать нашим идеям ту степень вескости и силы, какую хотим.

Кроме того, в подкрепление этому внутреннему двигателю мы можем выставить все внешние благоприятные нашей цели влияния. Мы располагаем не только настоящим, но — через посредство памяти — и прошедшим, а путем целесообразного применения наших интеллектуальных ресурсов мы овладеем и будущим. Выбор чтения зависит от нас; таким образом, мы можем избегать книг, возбуждающих чувственность, предрасполагающих к сентиментальности, к мечтательности, которая так благоприятствует лени. Но в особенности мы можем избегать — путем ли

умышленной холодности, или прямого разрыва — таких товарищей, которые, по своему направлению, характеру, образу жизни, поддерживают в нас дурные наклонности, развлекают нас, отвлекают от дела и которые умеют оправдывать свою лень благовидными доводами. Не у всех у нас есть ментор, который бросил бы нас в море в опасный момент, но у нас есть очень простое средство не бояться острова гибели, это — не приставать к нему.

Вот те средства, какими мы располагаем для борьбы с враждебными разуму силами. Мы можем не давать им высказываться свойственным им языком; искусной тактикой мы можем разбивать софизмы, за которые цепляются наши желания, и даже дискредитировать истины, опасные для нашей задачи. Сверх того у нас есть еще внешние способы действия: мы можем избегать среды и обстановки, способствующих развитию наших страстей.

4. Но все эти тактические приемы, взятые в сложности, можно назвать скорее подготовительной работой для борьбы: они еще не составляют самой борьбы. И вот эта-то подготовительная работа может иногда прерываться: какая-нибудь страсть, разросшаяся вопреки нашим усилиям ее подавить, или, чаще, пользуясь нашим невниманием и усыплением нашей воли, может внезапно приостановить ее правильный ход. Но если бы даже гроза разразилась, если бы, например, чувственность овладела нашим сознанием, мы не должны забывать, что страсть питается только идеями, и что идеи эти, которые страсть стремится объяснить на свой лад, мы можем попытаться объяснить по-своему. И если даже борьба будет действительно неравна, если пожар начнет быстро распространяться, то и тогда надо постараться, чтобы наша «лучшая, чистая, высшая воля», «острие нашего ума» не сдавалась. И так как эта мутная волна эмоций не есть какая-нибудь единая, однородная сила, — неудержимый порыв, а соединение отдельных тяжеловесных сил, заглушающих своим бурным течением голос враждебных им, но побежденных ими сил, то от нас зависит приложить все старания, чтобы поддержать наших несчастных союзников нашим вниманием и сочувствием.

Быть может нам удастся соединиться с ними, перейти в наступление и одержать победу или по крайней мере отступить в полном порядке; и тогда победа над собой в будущем достанется нам легче, скорей и будет решительнее. Так например, даже поддаваясь приступам чувственности, мы можем все-таки ни на секунду не терять из вида позора нашего поражения; мы можем вызвать и может быть даже удержать в своем сознании отчетливое представление того угнетенного состояния духа, какое неизбежно наступит за удовлетворением желания, представление о потере целого хорошего дня производительного труда. Точно так же и в приступах лени, какие бывают у самых лучших работников, — если бы даже нам не удалось вполне ее пересилить, вполне заглушить протесты отяжелевшего «зверя», — мы можем все-таки вызвать в нашем сознании представление тех радостей, какие дают труд и полная власть над собой. И можно, наверно, сказать, что следующий кризис будет короче, и победа над собой достанется легче. Часто приходится даже совсем отказаться от открытой борьбы: чтобы успокоить, например,

чувственное волнение, можно выйти погулять, зайти к приятелю и т.п., одним словом, постараться прогнать преследующую нас мысль, извести ее измором, расстроить или по крайней мере заставить ее уступить часть места в нашем сознании другим мыслям, введенным нами искусственно. Чтобы обмануть свою лень, мы беремся за какую-нибудь интересную книгу, рисуем, музицируем и затем, когда почувствуем, что ум наш очнулся от своей временной спячки, пользуемся благоприятной минутой, чтобы возвратиться к работе, которую мы бросили из малодушия или просто потому, что устали.

Наконец, если воля побеждена, — что должно часто случаться, — мы не должны падать духом. Хорошо и то, если мы будем подвигаться вперед понемногу, как пловец, которому приходится бороться с быстрым течением, и если даже течение понесет нас не так быстро, как понесло бы, если бы мы ему отдались, то и тогда мы можем не отчаиваться. Остальное сделает время. Время создает привычки и придает им силу и энергию природных влечений. Кто никогда не отчаивается, для того все возможно. В Альпах попадаются промоины в граните в сто метров глубины; эти глубокие траншеи прорыты водой, стекающей с гор в летнее время и отлагающей по дороге песок, который она несет: таким-то образом самая ничтожная сила, действуя постоянно, производит результаты, совершенно несоизмеримые с их начальной причиной. Правда, что мы не располагаем, как располагает природа, сотнями веков, но нам и не приходится иметь дело с гранитом. Вся наша задача — искоренить в себе дурные и постепенно выработать хорошие привычки. Вся наша цель — привести нашу чувственность и лень в должные границы, не рассчитывая обезоружить их абсолютно.

Но это не все. Даже неудачи наши могут обращаться нам же на пользу, — новое доказательство того, как велики наши ресурсы в деле самосовершенствования. Чувство физического изнеможения и умственной вялости, — этот отвратительный горький осадок, который оставляет в нашей душе удовлетворенная чувственность, бывает иногда очень полезен: испытав несколько раз такое состояние, человек почувствует всю его горечь, и воспоминание о ней надолго запечатлется в его памяти.

Несколько дней абсолютного бездействия неизбежно приводят к ощущению скуки и вызывают отвращение к себе, а это чувство может очень и очень помочь успеху нашего дела. Такие опыты время от времени бывают весьма полезны, и чем они убедительнее, тем лучше; благодаря такому сравнению, нравственная чистота и труд встают перед нами в своем истинном свете: мы начинаем тогда понимать, что только в них источник счастья без примеси, что они внушают нам самые благородные, самые энергичные чувства: чувство собственной силы, гордую радость сознавать себя работником, закаленным в труде и имеющим все данные, чтобы быть полезным родине и человечеству.

Итак, мы видим теперь, что в борьбе за нравственную свободу бывают поражения, равносильные победе.

Пора однако покинуть почву общих рассуждений. Мы доказали, что то или другое наше хотение может быть по нашему произволу связано крепкой цепью ассоциаций с тем или другим рядом поступков, и обратно: что мы можем порвать самую прочную ассоциацию идеи с поступком, если она для нас неудобна. А из этого следует, что самовоспитание — воспитание человеческой воли самим человеком — возможно.

Теперь нам остается рассмотреть поближе, как создаются ассоциации, другими словами — познакомиться с теми приемами или способами, с помощью которых мы можем приобрести полную власть над собой.

Лучшие и самые действительные из этих способов — субъективного происхождения и субъективного же воздействия. Это способы психологические в собственном смысле.

Остальные мы назовем внешними, объективными. Они состоят в разумном применении тех ресурсов, какие дает в распоряжение человека, умеющего ими пользоваться, внешний мир в самом широком значении этих двух слов.

Отдел III

ВНУТРЕННИЕ СПОСОБЫ

1. К внутренним способам, безусловно действительным, когда мы хотим создать, укрепить или уничтожить ту или другую эмоцию, и применение которых должно по необходимости предшествовать применению внешних, объективных способов, принадлежит:

- 1) сосредоточенное размышление и
- 2) действие.

Предпоследнюю главу этого отдела мы посвятим физической гигиене по отношению к тому специальному виду энергии, который мы взяли предметом нашего исследования, т.е. по отношению к умственному труду.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сосредоточенное размышление

1. Мы говорим: сосредоточенное размышление, чтоб отличить этот умственный процесс от других, с ним однородных. Нет надобности объяснять, что под словом «размышление» мы разумеем не мечтания, а тем более не сентиментальную мечтательность, являющуюся, как мы это увидим, одним из наших злейших врагов в деле достижения власти над собой, — одним из врагов, с которым мы должны энергично бороться. Когда человек мечтает, его внимание дремлет, мысли и чувства вяло проходят в сознании, переплетаясь между собой по прихоти случайных ассоциаций и часто самым неожиданным образом; при размышлении нет места случайностям.

С другой стороны, сосредоточенное размышление надо отличать от размышления с целью изучения: в последнем случае наша цель — приобретение точных знаний; в первом мы имеем в виду не «обогатить нашу душу», а «закалить» ее. Когда мы изучаем, мы хотим знать; совсем не то нам нужно, когда мы размышляем. Тут наша цель — возбудить в своей душе чувство любви или ненависти. При изучении нами руководит желание открыть истину, при размышлении истина нам не важна. Полезную ложь мы предпочтем вредной истине, весь ход нашего исследования направляется в этом случае исключительно принципом полезности.

Чтобы эта работа была плодотворна, необходимо очень близкое знакомство с психологией. Человеческая природа и в особенности причины явлений нашей умственной жизни, причины наших хотений должны быть известны нам до мельчайших подробностей. Мы должны основательно изучить соотношения этих явлений, их взаимодействие, ассоциации, комбинации. Кроме того необходимо до тонкости понимать, как влияет на нашу психическую жизнь окружающая среда — физическая, интеллектуальная и моральная.

Все это требует большой привычки к наблюдению, — к наблюдению тонкому, изоциренному и основанному исключительно на вышеупомянутом принципе полезности.

Повторяем: наша задача в том, чтобы терпеливо, шаг за шагом, изыскивать все то, что может возбудить в нашей душе порывы любви или ненависти; наша цель — установить крепкую связь между такими-то идеями, такими то чувствами, такими-то идеями и чувствами, или порвать ассоциации, по нашему мнению, вредные. Мы должны пользоваться всеми законами памяти и внимания, чтобы изгладить или запечатлеть в нашем сознании то, что мы считаем нужным изгладить или запечатлеть. Мы должны стараться, чтобы мысли и чувства, благоприятные для нашей задачи, «продистиллировались в нашей душе», чтобы то, что было лишь абстрактной идеей, превратилось в горячую, живую симпатию. Размышление достигло своей цели, коль скоро оно пробудило в душе человека могучие движения

симпатии или отвращения. Изучение приводит нас к знанию; размышление должно приводить к поступку.

Если мы примем в расчет, что в поступках — весь человек, что человек хорош лишь в той мере, в какой хороши его поступки, если, с другой стороны, мы припомним, что поступки наши почти исключительно (если не исключительно) вызываются эмоциями, то мы легко поймем, как важно для нас основательное изучение того тонкого душевного механизма, посредством которого мы можем развить и дополнить эмоции, благоприятствующие нашей задаче.

2. Если в химический раствор, содержащий несколько различных тел в степени насыщения, мы опустим кристалл, то однородные с кристаллом частицы, под влиянием таинственной силы притяжения, выделятся из жидкости и постепенно сгруппируются вокруг него. Кристалл будет мало-помалу расти, и если раствор оставался в полном покое недели и месяцы, то получится один из тех великолепных экземпляров, которые по своей красоте и объему составляют радость и гордость химических лабораторий. Но если работа кристаллизации будет непрерывно нарушаться, если мы будем волновать жидкость, то отложение произойдет неправильно, кристалл выйдет уродливым и почти не увеличится.

То же и в психологии. Возьмите любое психическое состояние, выдвиньте его на первый план в вашем сознании, продержите так подольше, — и незаметно, путем такого же таинственного сродства, как и химическое, вокруг него сгруппируются однородные с ним эмоции и идеи.

Если избранное вами психическое состояние продержалось в вашем сознании достаточно долго, оно может сгруппировать вокруг себя целую армию союзных сил, приобрести почти неограниченную власть над вашим сознанием и заставить молчать все, ему чуждое. Если такая «кристаллизация» происходила медленно, без толчков, без перерывов, она получает характер замечательной прочности. В организовавшейся таким образом группе есть что-то могучее, спокойное, определенное. И заметьте: нить такой идеи, которая не могла бы — если мы этого не захотим — организовать себе в нашей душе целый «клан» подчиненных. Религиозные идеи, материнская любовь и даже низкие, постыдные чувства, как, например, любовь к деньгам ради денег, могут приобретать над нами неограниченную власть.

Но мало таких людей, а тем более молодых, которые умели бы вызывать в своей душе то состояние безусловного покоя, какое необходимо для этой медленной работы «кристаллизации». Жизнь студента проходит слишком легко и разнообразно, особенно в Париже и в больших городах. Внешние возбуждения всякого рода приливают к его сознанию волна за волной: мысль следует за мыслью, чувство сменяется двадцатью—тридцатью другими чувствами. Это какая-то бешеная скачка. Прибавьте к этому бесчисленные впечатления, осаждающие его внешние чувства, — впечатления от лекций, от чтения газет, от разговоров, и вы поневоле согласитесь, что всю эту сутолоку

мыслей, ощущений и чувств можно сравнить разве только с бурным течением быстрого потока, прыгающего по камням с оглушительным ревом.

Да, мало людей, которые давали бы себе труд когда-нибудь сосредоточиться, которые не жили бы одной настоящей минутой, а пытались бы заглянуть в будущее. Так приятно отдаваться этому беспорядочному наплыву впечатлений! Это требует так мало усилий! Стоит только дать себя оглушить, а там — плыви по течению! Вот почему для большинства людей — говорит Каннинг — их собственное «я» — такая же неведомая область, как какая-нибудь страна центральной Африки. Почти никто из нас не делал никогда сознательных усилий отвлечь свое внимание от внешнего мира и оглянуться на себя, или, вернее, — так как наше сознание постоянно открыто для внешних впечатлений, то, оглушенные потоком этих впечатлений, мы никак не можем собраться с мужеством, чтобы исследовать до самой глубины неизменную сущность нашего «я». И в результате выходит, что человек является в жизни игрушкой внешних событий, проявляя не больше инициативы и самостоятельности, чем те осенние листья, что кружатся по дороге, когда их гонит ветром. Такой человек не выносит никакой пользы из опыта: блуждать поверхностным взглядом по стольким разнообразным предметам — значит не видеть ровно ничего. Тот только пожинает все плоды, какие приносит нам наблюдение, кто погружается в поток впечатлений, но не дает ему себя унести, и сохраняет необходимое хладнокровие, чтобы иметь возможность ловить на лету факты, мысли и чувства по своему выбору и затем подвергать их основательной работе ассимиляции.

Раз мы ясно сказали, в чем наша задача, раз мы поняли, что наша цель — укрепить в себе волю вообще и в частности желание трудиться, нам остается только произвести сортировку всех внешних обстоятельств, всех впечатлений, мыслей и чувств, чтобы быть в состоянии задерживать благоприятные влияния и заставлять их производить все свое действие, враждебные же влияния оставлять без внимания и давать им проходить без следа. Пользоваться всем, чем можно воспользоваться для достижения избранной цели — в этом весь секрет успеха.

3. После всего вышеизложенного для человека, знакомого с психологией и поставившего себе целью развить свою волю, предстоящая ему работа должна быть совершенно ясна. Вот она в общих чертах.

Когда в нашем сознании проходит чувство, благоприятное для нашей задачи, — не давать ему проходить слишком быстро, останавливать на нем внимание, стараться, чтоб оно пробудило все мысли и чувства, какие оно может пробудить. Другими словами, приложить все усилия, чтоб это чувство не осталось бесплодным, постараться извлечь из него все, что оно может дать.

2. Когда мы не можем пробудить в себе нужное нам чувство прямым воздействием воли, — проследить, не находится ли оно в связи с какой-нибудь идеей или группой идей, направить все внимание на эти идеи, продержат их как можно дольше в нашем сознании и дожидаться, чтобы естественный ход ассоциации пробудил данное чувство.

3. Когда в наше сознание вторгается чувство, неблагоприятное для нашей задачи, — стараться не останавливать на нем внимания, не думать о нем, дать ему, так сказать, умереть своею смертью.

4. Если неблагоприятное чувство уже разрослось и настолько заядало нашим вниманием, что мы не в силах от него освободиться, то подвергнуть самому строгому критическому разбору все идеи, из которых вытекает это чувство, и даже самый объект его.

5. Внимательно, до мельчайших подробностей, изучать внешнюю сторону жизни, стараясь проникнуть в сущность каждого факта, каждого явления, чтобы иметь возможность разумно пользоваться всеми ресурсами и избегать всех опасностей, какие могут представиться.

Вот, так сказать, общая программа действий, которой мы должны следовать, если хотим добиться успеха в нашем деле.

4. Но есть несколько пунктов, на которые следует обратить особенное внимание. Когда наш студент проникнется сознанием необходимости не «бегать от самого себя», когда он вполне поймет, что разбросанность мыслей — такой же признак душевной слабости, как например дрожь в руках и ногах — признак слабости физической, он сумеет найти время для самососредоточения. Он уже не будет больше растрачивать свой ум на пустяки, как это делают его товарищи. Он не будет пробегать по десяти газет ежедневно, не будет проводить за картами свои вечера, азартно спорить по поводу всякого вздора и вообще стараться забыться тем или иным способом. Власть над собой — вот в чем будет заключаться его высшая гордость; он больше не даст увлечь себя течению, которое увлекает других.

А мы уже знаем, что самое действительное средство достигнуть власти над собой — это возбудить в своей душе горячее чувство симпатии или отвращения. И наш студент, путем размышления, при содействии самых простых мыслей о близком ему и привычном, «заставить себя» полюбить труд и возненавидеть вялую, бесполезную и глупую жизнь празднолюбца. Личный опыт будет подсказывать ему эти мысли на каждом шагу. Он не позволит другим мыслям вытеснить их из его сознания, пока не «просмакует» их как следует, пока не даст им завершить весь ход своего развития в полном объеме. Вместо того, чтобы думать словами, как думает пошлая толпа, он будет стремиться к тому, чтобы предмет его мыслей вставал перед ним в конкретной, осязательной форме. Представлять себе вещи вообще, смотреть на все как бы мимоходом — метода ленивых умов. Сосредоточенный, основательный ум процеживает каплю по капле тот «мед», который отлагают в нем различные пункты мышления. Так, например, все мы знаем и повторяем, что труд дает нам много радостей, и самых разнообразных: во-первых глубокое удовлетворение самолюбия, затем более высокое наслаждение, — наслаждение чувствовать, как развиваются наши способности, наконец удовольствие делать счастливыми близких людей, приятное сознание, что мы готовим себе счастливую старость и т.д.; все это мы перечисляем, как по пальцам, и этим ограничиваемся. Но наш студент не

удовольствуется таким, чисто словесным перечислением. Слова — это коротенькие, удобные знаки, заменяющие для нашей мысли обозначаемые ими предметы, всегда более или менее сложные, громоздкие и требующие тем большего усилия мысли, чем больше подробностей заключает в себе предмет. Потому что люди посредственного ума и думают словами, — этими мертвыми абстрактами, не имеющими никакого влияния на нашу внутреннюю жизнь. Кроме того слова так быстро следуют одно за другим, что из всего множества порождаемых ими образов ни один не успевает достигнуть полной отчетливости. И в результате такого поверхностного мышления получается лишь бесполезная усталость: ум утомляется, оглушенный этой сутолокой погоняющих друг друга туманных, незрелых образов. Чтоб избежать этого зла, надо стараться представлять себе вещи ясно, со всеми подробностями. Думая, например, о том удовольствии, какое доставят вашим родителям ваши успехи, не говорите себе: «они будут рады», а вызовите в памяти фигуру вашего отца, вообразите его в тот момент, когда он выражает свою радость по поводу какой-нибудь вашей удачи, когда он принимает поздравления от друзей дома; представьте себе счастливую улыбку вашей матери, то удовольствие, с каким она во время каникул будет гулять под руку с сыном, составляющим ее радость и гордость; перенеситесь мысленно в вашу семейную столовую в тот час, когда за общим ужином заходит речь о вас: все, все, кончая безыскусственным восторгом маленькой сестренки, хвастающейся ученостью своего взрослого брата, будет для вас источником неизмеримого наслаждения. Короче говоря, старайтесь вызвать в своем воображении как можно точнее все подробности — жесты, слова; старайтесь прочувствовать все счастье любимых людей, которые приносят ради вас тяжелые жертвы, не чувствуя их, которые лишают себя многих радостей, чтоб скрасить вашу молодость, и несут на своих плечах тяготы жизни только затем, чтобы вам жилось легче.

А как хороша бывает старость, когда она является венцом трудовой жизни! Воображайте же себе и эту картину во всех ее мельчайших подробностях. Старайтесь представить себе, какой авторитет будет иметь каждое ваше слово, ваши сочинения; старайтесь думать о том, какой огромный интерес имеет для нас жизнь, даже когда мы лишены материальных удовольствий, и т.д. А независимость, которую дает труд, чувство собственной силы, сознание своего могущества, неисчислимые радости, которые он доставляет людям энергичным, удваивая для них прелесть каждого наслаждения! Надо останавливаться и на этих соображениях, надо «облюбовать» их со всех сторон...

И если только человек часто и подолгу останавливался на таких и подобных им мыслях, если душа его пропиталась их ароматом, то я не допускаю возможности, чтобы все его существо не прониклось спокойным, но стойким энтузиазмом, и чтобы этот энтузиазм не оживил его волю. Но — повторяю — такие движения надо ловить; надо давать им развиваться, проявить себя во всей силе. Даже в тех случаях, когда чувство резко врывается в наше сознание, благодаря какому-нибудь внешнему событию (если например мы

ощутили прилив энергии, энтузиазма, побывав на торжестве в честь какого-нибудь ученого), надо, не теряя времени, стараться развить, укрепить это чувство.

Бесполезно говорить, что и в тех случаях, когда мы хотим пробудить в себе отвращение к образу жизни, какой мы вели до сих пор и которого намерены впредь избегать, мы должны стараться составить себе точное и живое представление такой жизни во всех ее частностях. Надо, если можно так выразиться, просмаковать все отталкивающие стороны жизни лентяя. «Проглотите зернышко перца, — говорит один древний философ, — и вы его не почувствуете; но попробуйте его разжевать, возьмите на язык, и вы ощутите невыносимо резкий вкус во рту, язык и нёбо защиплет, вы расчихаетесь, и из глаз пойдут слёзы». Вот точно так же, в переносном смысле, мы должны поступать, когда думаем о жизни, исполненной лени и чувственности, чтобы возбудить в себе отвращение и стыд перед такой жизнью. И отвращение это должно относиться не только к самому злу, но и ко всему, «из чего оно вытекает и к чему приводит». Не будем подражать тому обжоре, которому доктора запретили есть дыню, вызывавшую у него серьезные возвраты болезни. «Он не ест ее, потому что доктор его страшит, что он умрет, если съест хоть кусочек, но он мучится этим лишением, говорит о нем... просит, чтоб ему дали хоть понюхать дыни, и почитает счастливыми тех, кто может ее есть». Так и мы: мы должны не только ненавидеть праздную жизнь — это жалкое существование, когда пустой, ничем незанятый ум сам себя пожирает, становится добычей самых ничтожных, нелепых интересов, но мы должны стараться даже не завидовать жизни праздных людей, не говорить о ней, мы должны ненавидеть товарищей, потакающих нашей наклонности к лени, развлечениям, которые приводят нас к праздности. Мы должны, одним словом, ненавидеть не только самую болезнь, но и дыню, которая ее вызывает.

Итак, мы видим, что лучшее средство укрепить в себе какое бы то ни было чувство, это — подолгу и как можно чаще поддерживать в нашем сознании идеи, с которыми оно находится в связи; стараться, чтоб эти идеи выступили перед нами выпукло, ярко, отчетливо. А чтобы этого достигнуть, необходимо представлять себе каждую вещь конкретно, со всеми ее живыми, характерными подробностями. Кроме того, благодаря такому методу, чувство развивается, во-первых, под влиянием других однородных с ним чувств, которые оно естественно притягивает к себе, во-вторых, — под влиянием возбуждающих одно другое разнообразных соображений

Чтобы помочь этому процессу развития нужного нам чувства, полезно читать с этой целью. Примеры, которые мы будем находить в практической части книги, окажут большую поддержку тем из нас, у кого нет привычки к такого рода размышлениям. Все книги, трактующие о благотворном действии умственного труда, о тех радостях, какие он дает, и о дурных сторонах праздности, будут для нас превосходным подспорьем. Как нельзя более полезно в этом смысле чтение некоторых мемуаров, например мемуаров Милля, писем Дарвина и т.п.

Если ход размышления правилен, если мы сумели окружить себя тишиной и вызвать в нашей душе состояние полного покоя, необходимого для того, чтобы эмоция проникла до самой глубины нашего сознания, то размышление неизбежно приведет нас к решению. Но если бы даже решение и не явилось, не следует думать, что все эти усилия потеряны для нас. «Когда человек, — говорит Милль, находится в этом исключительном состоянии, его стремления и все его душевные силы той минуты становятся для него образцом, с которым он сравнивает и которым он меряет свои чувства и поступки в другие моменты. Все его привычные влечения преобразовываются и формируются по образцу этих благородных движений души, несмотря на их скоротечность». Человека можно в этом случае сравнить со скрипкой, которая, говорят, совершенствуется под пальцами великого артиста. Раз мы сумели выбрать минуту, чтобы окинуть твердым и строгим взглядом всю нашу жизнь, — не может быть, чтобы эта минута не получила для нас особенного значения, чтоб она не выделилась из множества других минут, которые мы провели, живя день за днем; раз мы пережили в воображении все радости, какие дает труд, и всю горечь вялой жизни «безвольных», — не может быть, чтобы весь склад наших мыслей, все направление нашей деятельности не получили энергичного, благотельного толчка. Но необходимо часто возвращаться к намеченному рисунку; начатый набросок необходимо дополнять, беспрестанно подновлять в нем неясные штрихи, иначе каждый новый поток внешних впечатлений, проходя в нашем сознании, будет стирать их без остатка. Добрые движения — если их не закреплять — останутся бесплодными, не приведут к поступку.

5. Поэтому в высшей степени важно не спешить бросаться в шумный поток внешних впечатлений. Надо сосредоточиваться, чтобы наши порывы энтузиазма к труду и отвращения к праздности имели время завершиться, т.е. вызвать в нашей душе твердое решение.

Живое, отчетливо сформулированное решение в деле самообновления, безусловно, необходимо. Бывает, так сказать, два рода решений, являющихся в обоих случаях результатом размышления. Бывают великие общие решения, обнимающие собой всю жизнь человека, определяющие все ее направление. Такие решения наступают обыкновенно после долгих колебаний между многими возможными дорогами жизни. Чаще всего ими завершается тяжелая борьба; в великой душе они определяют резкий, окончательный разрыв, в минуту энтузиазма, со всем, чему мы подчинялись под влиянием привязанности к семье, дружеских связей или светских предрассудков, направляющих жизнь молодого человека по общему проторенному пути, каким идет большинство.

Для слабой души, стадных людей решение равносильно поражению: им покупается постыдный мир. Решение у трусливых натур — это торжество посредственности, когда человек навсегда отказывается от всяких попыток к борьбе, когда он мирится с жизнью большинства и закрывает глаза перед требованиями идеала, превышающего все то, что может вместить его дрянная душонка. Но между этими двумя крайними случаями, приводящими к

безвозвратным решениям, мы находим все степени человеческой слабости, когда молодой человек колеблется, падает.

поднимается и опять падает, когда ему не удастся заставить молчать призывы более высоких идеалов, но когда, за отсутствием воли, он вновь и вновь возвращается к тому, что сам же презирает. Такие люди — озлобленные, всегда готовые к восстанию рабы. В противоположность стадным натурам, они не мирятся со своим падением; они понимают всю прелесть трудовой жизни, но не могут работать; гнушаются своей праздностью — и не делают ничего. Да, они рабы, но знание законов в психологии может дать им свободу, если они с первых же шагов не отчаются в своем избавлении и не поставят условием, чтоб оно совершилось немедленно.

Такие решения являются как бы венцом, заключением, и потому они так важны. Такие решения — это, так сказать, краткая, точная формула бесчисленных влечений, наклонностей, чувств, результатов опыта, чтения, размышлений.

Так например, для того, чтобы определить общее направление наших поступков, мы должны остановиться на одной из двух существующих гипотез относительно конечной будущности вселенной. Или мы примем вместе со скептиками, что мир — в том виде, как он существует, — есть, так сказать, результат игры случая, удачного стечения обстоятельств, которое больше не повторится, что жизнь, сознание явились на землю лишь случайно. Или же мы примкнем к сторонникам противоположного тезиса и будем верить, что вселенная идет по пути развития все к более и более высокому совершенству.

Скептический тезис имеет за себя только один аргумент — что мы ничего не знаем, что мы прикованы к нашей планете, что мы живем «в этом далеком уголке вселенной», как заключенный в своей темнице, и возводить в универсальный закон то немногое, что мы знаем, было бы с нашей стороны величайшей претензией. Противоположный тезис имеет за себя достоверность факта и, в некотором смысле, обладание. Мы знаем только нашу планету, наш мир, но мир этот повинует определенным законам — и уже давно, так как жизнь предполагает неизменное постоянство законов природы. Если бы например с видимыми признаками хлебных растений сегодня совпадали съедобные качества, завтра какие-нибудь другие, а послезавтра свойства ядовитые, жизнь на земле не могла бы установиться. Я живу — следовательно законы природы постоянны. А так как начало жизни на земле относится к силурийской эпохе, то неизменяемость законов природы надо считать миллионами лет. Это то мы и имели в виду, говоря, что нравственный тезис имеет за себя обладание.

С другой стороны, в результате всех этих миллионов лет непрерывного развития явились мыслящие существа, и эти мыслящие существа превратились в существа нравственные. Как же после этого не допустить, что мир совершенствуется, что жизнь стремится придти к разуму и нравственности? И естественная история, и история человечества учат нас,

что все ужасы борьбы за существование привели к более высокому нравственному развитию человеческой расы.

Кроме того и мысль, так же, как жизнь, предполагает порядок и постоянство. Хаос и мысль — вещи несовместимые. Мыслить — значит организовать, классифицировать. А мысль, сознание — это единственное реальное понятие, какое мы знаем, и принимать скептический тезис — не значит ли это признавать, что единственное известное нам реальное понятие есть ничего больше, как химера? Да даже если бы мы это и признали, такое признание не будет иметь большого смысла для нас. Это будет лишь предположение, пустой звук, лишенный всякого содержания.

И так, мы видим, что теоретические доводы в пользу нравственного тезиса достаточно вески. Практические же доводы можно считать решающими. Скептический тезис приводит к оправданию личного эгоизма: с точки зрения этого тезиса только ловкость, уменье, способности ценятся в человеке; если добродетель и заслуживает одобрения, то лишь в качестве высшего проявления ловкости.

Прибавим к этому, что самый выбор здесь не произволен: он обязателен; ибо не выбрать ничего — значит все-таки выбрать. Вести праздную жизнь, жить для наслаждения — значит фактически признавать то положение, что все значение человеческой жизни в наслаждении. А это тезис в высшей степени метафизический при своей простоте и наивности. Очень многие из нас гораздо более метафизики, чем они воображают: они бессознательные метафизики — вот и все.

Итак, мы не можем не принять одной из двух существующих метафизических гипотез: мы должны выбрать ту или другую. Этому выбору могут предшествовать годы изучения и размышлений. Затем, вдруг, в один прекрасный день, какой-нибудь аргумент выступает перед нами особенно ярко; красота и величие нравственного тезиса поражают нашу душу, и мы принимаем решение. Мы решаемся принять нравственный тезис, потому что один только он дает смысл нашему существованию, нашему стремлению к добру, нашей борьбе с несправедливостью и безнравственностью. Раз выбор сделан, мы уже ни на секунду не позволяем скептическим доводам проникнуть в наше сознание; мы отталкиваем их с презрением, потому что у нас есть теперь долг, обязанность, которая выше удовольствия пофилософствовать, — обязанность действовать, и действовать честно. Мы ревниво охраняем нашу нравственную веру, и вера эта становится для нас жизненным принципом и придает нашему существованию такой высокий смысл, такую жизненность и полноту, каких никогда не узнают дилетанты, чья мысль остается бессильной, не вызывая чувства, не приводя к энергичной, плодотворной деятельности.

Торжественное решение принято, и с этой минуты жизнь определилась. Наши поступки перестают подчиняться влиянию внешних событий. Мы уже не будем больше послушным орудием в руках людей более энергичных, чем мы. Даже сраженные бурей, мы сумеем удержаться на своем пути: мы созрели

для высших задач. Мы приняли общее решение, а такое решение для человека — то же, что для монеты чеканка: кое-какие мелкие черточки от обращения сотрутся, но главные очертания выбитого на металле лица сохраняется, и не узнать их уже будет нельзя.

У работника, у человека дела, общее нравственное решение должно сопровождаться и другим: как Геркулес в мучительной борьбе между добродетелью и пороком, он должен решительно отбросить праздную жизнь и перейти к жизни труда.

Таковы общие, торжественные решения, какие принимаются раз в жизни. Такие решения — это признание идеала, подтверждение прочувствованной истины...

Цель намечена, но достигается она не сразу: чтобы достигнуть намеченной цели, надо хотеть применять нужные средства. Внимательное изучение указывает нам эти средства, повторяю — надо хотеть их применять, а всякое хотение подразумевает решение. И когда общее решение принято твердо, такие частные решения даются необыкновенно легко: они вытекают из первого, как заключение из посылок. Во всяком случае, если бы даже нам было трудно принять какое-нибудь частное решение, например, заставить себя перевести отрывок из Аристотеля, всегда от нас зависит пробудить в нашем сознании такие соображения, которые могли бы приохотить нас к предстоящей задаче. Нельзя, конечно, отрицать, что усилия, требующиеся для того, чтобы добраться до смысла какой-нибудь страницы, которая может быть никогда его не имела, представляют весьма утомительную гимнастику; но насколько такая борьба с каждым словом, с каждым предложением, — борьба, где каждый шаг приходится с бою, — насколько такие усилия найти логическую связь между отдельными фразами развивают ум, обостряют сообразительность и закаляют все способности — это мы можем вполне оценить только тогда, когда после семи, восьми дней такого труда перейдем например к сочинениям Декарта или прочтем главу-другую из Стюарта Милля. Мы почувствуем тогда то же, что чувствовали на войне римские солдаты, исполнявшие в мирное время военные экзерции с двойною тяжестью на плечах сравнительно с той, какая полагалась во время войны. Коль скоро общее решение постоянно присутствует в сознании, бывает обыкновенно достаточно двух-трех самых простых соображений, чтобы вызвать частное решение, чтобы пробудить необходимое для этого усилие воли.

Из предыдущего видно, как было бы полезно для успехов учащихся и учащихся, если бы в каждой отрасли знаний изложению самого предмета предпосылалось по возможности убедительное изложение тех общих и частных выгод, какие может извлечь для себя учащийся из предстоящих занятий, и какого важного подспорья лишают себя наши учителя тем, что не прибегают к этому методу. Скажу о себе: я много лет занимался латынью с отвращением.

Только потому, что никто никогда не объяснял мне, как полезен латинский язык: с другой стороны, я вылечил от этого отвращения своих учеников единственно тем, что заставлял их читать и пояснял им превосходный трактат Фуллье о необходимости изучения классических языков.

6. Несмотря на все мною сказанное, я все-таки уверен, что некоторые из моих читателей не могут отделаться от одного сомнения. Им так часто приходилось слышать, что энергичная деятельность и продолжительное размышление находятся во взаимном противоречии, и что мыслители в большинстве случаев — люди, мало пригодные для практической жизни, что полезное влияние продолжительного размышления на деятельность человека представляется им сомнительным. Это происходит от того, что они смешивают так называемых деятельных (вернее сказать, суетливых) людей с людьми дела, действительно достойными такого названия. Деятельный человек и человек дела — две совершенные противоположности. У деятельного человека потребность что-нибудь делать: его деятельность выражается частыми действиями, не имеющими между собою определенной связи и следующими одно за другим изо дня в день. Но только постоянство усилий в одном направлении создает успех в жизни, в политике и т.д., и лихорадочная деятельность этих людей делает много шума, но дела — настоящего, полезного дела — почти или совсем не дает. Направленная к определенной цели, уверенная в себе, деятельность требует глубокого размышления. И все великие деятели, какими были например Генрих IV и Наполеон, прежде чем действовать, много размышляли — или своей головой, или головами своих министров (Сюлли). Кто не размышляет, кто не имеет перед собой постоянно конечной цели своих стремлений, кто не прилагает настойчивых усилий к изысканию наилучших средств для скорейшего достижения временных, переходных этапов на своем пути, тот неизбежно становится игрушкой обстоятельств. Непредвиденное ставит его в тупик, заставляет поминутно останавливаться, и кончается тем, что он теряет общее направление и не знает, куда ему идти. Но, с другой стороны, как мы это увидим, за размышлением должно непременно следовать действие: одного размышления недостаточно, хотя оно и составляет необходимое условие всякой плодотворной деятельности.

Мы говорим: необходимое условие, ибо все мы знаем себя гораздо меньше, чем думаем. Грустно становится — да и нельзя не сокрушаться, — когда оглянешься кругом и на тысячу человек не насчитаешь и одного, который обладал бы индивидуальностью: и в общем направлении нашего поведения, и в отдельных поступках все мы, почти без изъятия, уподобляемся марионеткам, приводимым в движение совокупностью сил, без всякого сравнения более могущественных, чем их собственная. Мы живем самостоятельной жизнью не больше какой-нибудь щепки, которую бросили в быстрый ручей и которая несется по течению, не зная куда и зачем. Люди — повторяем знаменитое сравнение — это флюгерки, сознающие свое движение, но не сознающие, что они вертятся от ветра. Жизнь большинства из нас

направляется воспитанием, мнением товарищей и общественным (давление которого чрезвычайно сильно), могущественными внушениями речи, пословицами категорического пошиба и, наконец, природными влечениями, и редко между нами люди, которые вопреки всем увлекающим их неведомым течениям, держат свой путь твердо и прямо к заранее избранной гавани и знают, когда им надо остановиться, чтобы определить точку своего местонахождения и исправить свой курс.

Да даже и для тех, кто отваживается попытаться взять себя в руки, — как ограничено время власти над собой! До двадцати семи лет жизнь толкает нас вперед, не давая нам вдуматься в ее смысл, а когда у человека является желание дать ей определенное направление, он оказывается уже втиснутым в общую колею, выбиться из которой не так-то легко. Сон отнимает целую треть существования, а там всякие житейские ежедневные надобности: одевание, еда, пищеварение, требования света, служба, недомогания, болезни; все это оставляет очень мало времени для высшей духовной жизни. Дни идут за днями, жизнь уходит, и когда смысл ее начинает становиться нам ясен, смотришь — и старость подкралась. Этим-то и объясняется огромное влияние католицизма. Католическая церковь знает, куда она ведет человека; исповедь в ее руках — могучее средство: руководя душами верных, она знакомится с самыми глубокими истинами практической психологии, начертывает один широкий, общий путь для своей паствы — этого стада живых марионеток, поддерживает слабых в их колебаниях и направляет к одной общей цели всю эту толпу, которая без нее спустилась бы, с точки зрения нравственности, до уровня животных или, вернее, не поднялась бы выше этого уровня.

Да, просто невероятно, до какой степени все мы, почти поголовно, подчиняемся внешним влияниям. Во-первых и прежде всего: влиянию домашнего воспитания, семьи. А семьи философов редки. Немного, следовательно, найдется и детей, которые получали бы рациональное воспитание. И даже те из них, кто его получает, купаются, если можно так выразиться, в атмосфере глупости. Окружающая среда, прислуга, товарищи, друзья дома — все люди, раболепствующие перед общественным мнением — неизбежно «начинают» память ребенка «ходячими формулами». Если бы даже семья сама по себе могла оградить его от предвзятых понятий, у него, помимо нее, будут наставники, легкомысленные, ни о чем не думающие, и товарищи, зараженные пошлостью. Кроме того, живя между людей, ребенок — даже из самой разумной семьи — должен будет поневоле говорить языком окружающих. А язык, как известно, создается толпой по ее образу и подобию. В нем выливается посредственность толпы, ее ненависть ко всему истинно высокому, ее грубые и наивные суждения, всегда основанные на одной внешности и никогда не проникающие вглубь. Вот почему в общеупотребительной речи мы находим такое множество пословиц, изречений, восхваляющих богатство, власть, военные подвиги с одной стороны, а с другой — таких, в которых выражается презрение к доброте, бескорыстию, простому образу жизни, умственному труду. А влияние речи очень сильно; все мы в высокой степени испытываем его на себе. Хотите

доказательств? Произнесите в обществе слово «величие», и я держу сто против одного, что в уме ваших собеседников возникнет представление о могуществе, о славе, о пышности, и разве потом только кто-нибудь вспомнит о нравственном величии. Все назовут Цезаря, никто — Эпиктета. Заговорили ли о счастье — и в нашем сознании встают представления о богатстве, о власти, о рукоплесканиях толпы. Попробуйте, как это делал я, произвести такой опыт над десятком другим общеупотребительных слов, наиболее характеризующих все то, чем красна жизнь для мыслящего человека, а чтоб никто не усомнился в высоконравственном значении вашего опыта, уверьте вашу аудиторию, что вы желаете с чисто психологической точки зрения определить соответствующее каждому слову понятие, — вы придете к весьма поучительному выводу. Вы убедитесь, что язык — самое могучее орудие воздействия, каким обладают, в ущерб всему честному и высокому, невежество, глупость и пошлость.

И вот, к этой то сокровищнице универсальной глупости обращается каждый товарищ нашего студента; в ней он черпает свой оборотный умственный капитал, который и разменивает на мелкую монету по мере того, как представляется надобность. В пословицах — в живой и сжатой форме — выражается народная мудрость, т.е. наблюдения людей, незнакомых с самыми элементарными основами правильного наблюдения, не представляющих себе даже приблизительно, в чем состоит убедительный опыт. Беспрерывно повторяясь, все эти изречения в конце концов приобретают такой авторитет, что оспаривать его становится неприличным. Заходит ли речь о молодом человеке, бессмысленно жертвующем всеми наслаждениями, действительно достойными этого имени, тщеславному удовольствию таскать за собой по пивным какую-нибудь взбалмошную и грубую женщину, — «пусть перебесится: надо же отпраздновать молодость», скажет какой-нибудь солидный господин, желая щегольнуть широтой своих взглядов, и хорошо еще, если при этом он не поощрит молодого человека продолжать в том же духе, выразив живейшее сожаление, что время подобных шалостей миновало для него самого.

Не побоимся же сказать прямо: все эти ходячие, освященные временем формулы наносят величайший вред молодежи, мешая ей додуматься до правды. А так как во всех странах Европы и Америки молодой человек, выходя из коллежа или лицея, оказывается сразу один, в большом городе, без всякого надзора, без нравственной опеки; так как никого из нас никогда не предостерегали, чтоб мы держались подальше от губительной атмосферы нелепых предвзятых понятий, какую дышит учащаяся молодежь.

то все наше бессмысленное поведение, приводящее к таким печальным последствиям, объясняется весьма просто. Все эти шайки буйных студентов, которых так осуждают солидные люди, все это — готовые, принятые на веру идеи, загромаждающие головы тех же солидных людей, но идеи воплотившиеся, осуществленные на деле.

Влияние этих идей до такой степени прочно, что остается только завидовать тем, кому удастся освободиться от них в зрелом возрасте. Подчиняясь этому влиянию, особенно когда на подмогу ему приходят слабость воли и природные влечения низшего разбора, многие из нас пытаются оправдать ходячими изречениями свою порочную юность и зрелый возраст, служащий ей продолжением. Все это скопище заблуждений — результат воспитания, влияния речи, примеров, среды и природных влечений — образует в уме юноши нечто вроде густого тумана, который мешает ему правильно видеть. Чтобы рассеять этот туман, есть только одно средство: уходить в себя, размышлять, отгонять от себя низменные внушения среды и заменять их всем тем, чему нас учат великие умы, стараясь привести свое внутреннее «я» в состояние полного покоя, чтобы эти благодетельные внушения могли проникнуть до самого дна нашей души. Уединение и тишина, необходимые для такого проникновения, вполне доступны для студента: позднее у него никогда уже не будет такой абсолютной свободы, и, право, нельзя не пожалеть, что именно в тот период, когда мы пользуемся полной независимостью, мы так мало владем собой.

Тем не менее остается все-таки несомненным, что самоуглубление может помочь нам рассеять мало по малу наши иллюзии — достигнем ли мы этого собственными силами, или с помощью творений великих умов. Вместо того, чтобы принимать все на веру, мерять свои мнения на чужой аршин, мы привыкнем судить самостоятельно и — в особенности — убьем в себе привычку принаравливать к чужим мнениям в оценке наших удовольствий и впечатлений. Мы поймем, что пошлость, довольствующаяся низменными наслаждениями за неспособностью понимать наслаждения высшие, мало того, что придает первым обманчивую внешность, наделяя их всеми хвалебными эпитетами общеупотребительной речи, но еще и клеймит все достойное уважения презрением и насмешкой. Философ, не следующий за общим течением, оказывается чудаком, сумасшедшим, глупым мечтателем; человек мыслящий — метафизиком чистейшей воды, который падает в колодезь, заглядевшись на звезды. Для порока — хвалебные эпитеты, игривые дактили; для добродетели — тяжеловесные спондеи: насколько первый изящен, грациозен, настолько же вторая сурова, строга, педантична. Сам Мольер, при всем своем гении, не сумел заставить нас смеяться над пороком. Селимена — лукавая, злая кокетка, и она не смешна: нет, быть комичным, достается в уделе не ей, а Альцесту, — честному человеку, каждое слово, каждое движение которого дышит высокой прямоотой. Любопытно, с каким великим изумлением узнает учащееся юношество обоого пола, что Альцест — светский молодой человек, воспитанный и изящный, — вот до какой степени это понятие не вяжется в их представлении с добродетелью, вот до чего могущественны внушения речи — этого складочного магазина, куда, повторяю, сносится все, что ни на есть пошлого и низменного. Макс Мюллер высчитывает, что число слов, употребляемых цивилизованным англичанином, колеблется между тремя и четырьмя тысячами; число же слов, какими пользуются великие учителя человечества, доходит до

пятнадцати и до двадцати тысяч: так вот в этом то каталог слов, мало употребительных в обыкновенной речи и составляющих всю разницу между умственным багажом светского человека и мыслителя, и заключается все великое, благородное и возвышенное. К сожалению, подъем нашей речи, создаваемый таким образом мыслью, для большинства недоступен; это та же гора: люди толпы могут совершать короткие экскурсии на вершину, но постоянная их резиденция — низменность. Вот почему установившиеся ассоциации идей идут в разрез со всем возвышенным и благородным. «С самого детства, — говорит Николь, — мы слышим, что об одних вещах говорят, как о благе, о счастии, а о других, как о несчастье, о зле. Те от кого мы это слышали, невольно передали нам свои идеи и чувства, и мы привыкли смотреть на вещи их глазами и соединять с известными понятиями те же страсти, те же идеи и чувства»... «Мы оцениваем вещи уже не по настоящей их стоимости, а по той, какую они имеют во мнении большинства».

Повторяю: направленное к одной цели, внимательное размышление вылечит нашего студента от недуга подражательности и научит его судить самостоятельно. Пусть он окунется в реальную жизнь, пусть поживет, как живут все, — это необходимо: без этого он никогда не приобретет опытности и не научится избегать опасностей. Но, попробовав той жизни, какую живет большинство, пусть он углубится в себя, старательно проанализирует свои впечатления, и он уже не будет больше ошибаться насчет истинной ценности ходячих понятий, особенно по отношению к нему самому: он выкинет из них все наносное, постороннее. Он скоро поймет, что такое жизнь обыкновенного студента; он поймет, что такая жизнь сводится в большинстве случаев к жертвованию всеми прочными наслаждениями, всеми чистыми и высокими радостями в пользу тщеславия — тщеславного удовольствия щегольнуть своей независимостью, наполняя пивные криком и гамом, напиваясь чуть не до бесчувствия, возвращаясь домой в два часа ночи, показываясь в публичных местах с какой-нибудь женщиной, которую он может быть завтра же увидит в объятиях своего преемника, довольного, что и ему есть теперь чему прихвастнуть.

Ясно, что подобное поведение есть ничего больше, как манифестация своей независимости, — хвастовство человека, только что освободившегося от стеснительного режима закрытого заведения или вышедшего из-под семейной опеки. Но к чему манифестации? Какая в них радость? Живое чувство своей независимости — вот в чем настоящее счастье. Все остальное — одно простое тщеславие. Сумма счастья, чистой прибыли, какую приносит эта беспорядочная, шумная жизнь, оценивается вообще очень неверно. Что же до удовлетворения тщеславия, то подумайте, как легко его удовлетворить разумными способами? Заслужить одобрение профессоров, превосходно выдержать экзамены, исполнить заветное желание родителей, сделаться великим человеком в своем родном городке, — как далеко оставляют за собой все эти радости тщеславные удовольствия студента-специалиста по прожиганию жизни, — удовольствия, которые по плечу самому неразвитому

чернорабочему или какому-нибудь приказчику, получившему свое недельное жалованье.

Пусть же наш студент углубится в себя, пусть он подвергнет самому строгому критическому анализу все эти удовольствия, не дающие в результате ничего, кроме утомления и пресыщения, замаскированных иллюзией тщеславия. Мало того: пусть он разберет одно за другим все предвзятые мнения, все софизмы против умственного труда, которых расплодилось так много; пусть он отдаст себе ясный отчет в своем времяпрепровождении в течение дня, пусть он представит себе один из таких дней во всех подробностях и проанализирует руководящие его поступками принципы. Пусть призовет себе на помощь книги, подкрепит свою мысль целесообразным выбором чтения, откинув в сторону все то, что не может поддержать его волю. И тогда перед ним откроется новый мир. Он уже не будет более обречен, как пленники, прикованные в пещере Платона, созерцать одни лишь тени реальных предметов: он увидит лицом к лицу чистый свет истины.

Он создаст для себя атмосферу здоровых, благотворных впечатлений, он станет личностью, разумным существом, господином своего «я». Он уже не будет кидаться во все стороны, повинаясь самым противоречивым внушениям — сегодня внушениям речи, завтра — голосу слепых природных влечений, а там — влиянию товарищей, среды и требованиям света.

Само собою разумеется, что самоуглубление, о котором идет речь, ничуть не исключает жизни с людьми: можно жить мыслью в самом глубоком уединении, не прячась от мира. Уединение, которое мы ставим условием, заключается лишь в том, чтобы не давать завладеть собой низменным интересам, чтобы заставлять себя думать только о том, что может возбудить в нашей душе те чувства, какие мы хотим испытывать. Эта работа отнюдь не требует отречения от мира; чтобы ее выполнить, нет никакой надобности спасаться за монастырской стеной. Чтобы выполнить ее с успехом, будет совершенно достаточно, если наш молодой человек достигнет того, что будет создавать себе «внутреннее уединение» во время прогулки или у себя дома, если в течение более или менее продолжительного промежутка времени, ежедневно или еженедельно, он будет направлять свое внимание исключительно на то, что может возбудить в его душе чувства любви или ненависти.

7. И тогда он не только освободится из-под ферулы всяческой пошлости и от заблуждений, порождаемых страстью, не только будет более сообразоваться с истиной во всех своих поступках, но избегнет и серьезных опасностей. В самом деле, власть над собой обуславливается не одной только постоянной и успешной борьбой с внушениями извне; но еще, и в особенности, владычеством ума над слепыми силами эмоций. Если мы взглянем, как поступают дети, почти все женщины и большинство мужчин, нас поразит, до какой степени развита в человечестве склонность действовать по первому побуждению и полнейшая неспособность

сообразоваться в своих поступках с мало-мальски отдаленными целями. Почти все, что совершает человек в своей жизни, является результатом эмоций, преобладающих в нем в данный момент. Тщеславие сменяется гневом, гнев — порывом симпатии и т.д., и если исключить все то, что делается по привычке или исполняется по обязанности, подкладкой всего остального — особенно у человека, принадлежащего к обществу, — окажется желание заслужить доброе мнение людей, обладающих обыкновенно весьма невысоким критерием. А в обществе так сильно укоренилось наивное стремление принимать себя за тип совершенства, что деятельными людьми признаются исключительно одни непоседы. Человек, уединяющийся, чтобы мыслить без помехи, чтобы работать головой, не заслуживает ничего, кроме порицаний. А между тем все, что было создано на земле прочного и великого, было создано работниками мысли. Весь плодотворный труд человечества был выполнен спокойно, неспешно и без шума мечтателями, о которых мы только что говорили, — теми самыми мечтателями, что «падают в колодезь, заглядевшись на звезды». Все остальное: политики, завоеватели, все блестящие деятели, наполняющие историю треском и шумом совершенных ими нелепостей, играли лишь второстепенную роль в поступательном движении человечества. Когда история — как ее понимают в настоящее время, — история, представляющая лишь сборник анекдотов, предназначенных удовлетворять праздному любопытству так называемой образованной публики, уступить место истории, написанной мыслителями для мыслящих людей, — тогда нас поразит, как мало повлияли на ход цивилизации деяния «великих исторических деятелей». Тогда настоящие герои истории, великие новаторы в науке, в искусстве, в литературе, в философии, в индустрии, займут первое место, принадлежащее им по праву. — Какой-нибудь Ампер — бедняк и мечтатель, который не умел наживать деньги и над которым его собственная привратница хохотала до слез, — больше сделал своими открытиями для общества и даже для современной войны, чем все Мольтке и Бисмарки. Жорж Билль гораздо больше подвинул вперед и подвинет еще в будущем агрономию, чем пятьдесят министров земледелия, вместе взятых.

Как вы хотите, чтобы юноша, студент, боролся с общественным мнением, восхваляющим суетливую непоседливость, которую оно смешивает с полезной, плодотворной деятельностью? Как вы хотите, чтоб он не испытывал потребности хоть обмануть себя иллюзией, что он живет, т.е. заявляет о себе шумом, скандалами и всякими безобразиями, коль скоро все признают, что в этом заключается жизнь? В этой роковой потребности действовать во чтобы то ни стало, не размышляя, не откладывая, — потребности, поощряемой одобрением большинства, коренится источник всех наших бед. Еще когда молодой человек сидит один за работой, потребность эта, за неимением исхода, не представляет большой опасности; но, благодаря своей склонности действовать необдуманно, он легко становится игрушкой внешних обстоятельств. Посещение товарища, какое-нибудь публичное собрание, праздник, всякое происшествие отвлекают его от работы, ибо — кто-

же этого не замечал? — нечаянность всегда «выбивает из седла» слабую волю. Все наше спасение в размышлении: предвидение внешних событий может даже заменить отсутствующую энергию. А наш студент имеет полную возможность исключить из своей жизни нечаянности. Он всегда может предвидеть все случаи, которые могут отвлечь его от дела в близком будущем. Он знает, например, что такой-то товарищ будет тащить его в пивную или гулять, и может заранее подготовиться к отказу, или, если ему тяжело отказать напрямик, он может выдумать благовидный предлог¹ и положить таким образом конец дальнейшим приставам. Но — повторяю — наш молодой человек должен заблаговременно запастись твердой решимостью, хотя бы, положим, решением вернуться домой и сделать такую-то работу; он должен заранее приготовить формулу отказа, которая пресекла бы в самом начале всякие попытки подстрекнуть его к безделью, иначе все шансы будут за то, что его рабочий день пропадет. Предвидеть — с психологической точки зрения — значит заранее представлять себе имеющие совершиться события. Такое представление — если оно достаточно отчетливо и живо — почти равносильно побуждению, так что вызываемое им ответное действие выполняется очень быстро; таким образом промежуток времени между мыслью о поступке или о словах, какими мы можем ответить на то или другое предложение, и объективной реализацией этой мысли оказывается слишком коротким и не оставляет места внушениям извне — будь то влияние внешних событий или настояний товарища; все, что враждебно решению, приводит лишь к автоматическому выполнению соответственных решению поступков.

Жизнь состоит из нечаянностей только для слабых людей. Кто не имеет перед собой строго определенной цели или, даже наметив себе цель, не умеет отдавать ей нужное внимание и беспрерывно отвлекается от нее, для того жизнь действительно теряет всякую последовательность, всякую связь. И наоборот: для того, кто часто останавливается на своем пути, чтобы «ориентироваться» и, если нужно, исправить свой курс, — непредвиденное не существует. Но, чтобы достигнуть такого результата, человек должен знать, что он из себя представляет, чем он больше всего грешит и что всего чаще заставляет его даром терять время, и сообразно с этим руководить своими поступками: он должен, если можно так выразиться, не терять себя из вида.

Придерживаясь этой системы, мы достигнем того, что случай будет играть в нашей жизни все меньшую и меньшую роль. Мы не только будем твердо и заранее знать, что нам сказать или сделать в том или в другом затруднительном случае (порвать, например, сношения с таким-то товарищем, переменить квартиру, ресторан, спастись на время бегством в деревню), но мы сумеем кроме того организовать подробный, полный план военных действий против всех наших внутренних врагов.

Организация такого плана имеет первостепенную важность. Когда он составлен правильно, мы знаем, как нам бороться с чувственными влечениями, с приступами сентиментальной чувствительности, грусти, уныния. Как опытный полководец, принимающий в расчет все трудности, все препятствия (большие силы неприятеля, неблагоприятные условия

местности, недостатки своих собственных войск), но не упускающий из вида и того, что дает ему шансы на успех, — будь то неудачное расположение неприятельской армии, неопытность ее главнокомандующего или упадок духа в неприятельских войсках, — мы можем тогда рассчитывать на победу и смело подвигаться вперед. Наши внешние и внутренние враги нам известны; известна их тактика, их слабые пункты: наша победа в будущем несомненна, ибо нами не предусмотрено, — даже возможность правильного отступления в случае поражения на каком-нибудь отдельном пункте.

На эти то внешние и внутренние опасности, грозящие со всех сторон нашему студенту, он и должен обратить все свое внимание. Чтобы бороться с ними успешно, ему придется изучить целую тактику. И тогда он увидит, что в деле самовоспитания, воспитания в себе воли, — при известном умении, можно утилизировать не только внешние факты, но даже все то, что при обыкновенных обстоятельствах способствует нравственному падению человека. Вот до какой степени верно, что ум, размышление — истинные наши освободители, и что сила света и разума в конце концов всегда восторжествует над тяжеловесными и слепыми силами эмоций.

8. Итак, мы видим, что размышление чрезвычайно богато последствиями. Размышление порождает в нашей душе могущественные движения симпатии, превращает слабое желание в энергичную решимость, нейтрализует влияние внушений речи и страсти, дает нам возможность прозревать будущее, предвидеть опасности внутреннего происхождения и принимать меры, чтобы внешние влияния — товарищи, среда — не приходили на помощь нашей прирожденной лени. Как видите, размышление для нас большая поддержка. Но единственная ли это поддержка, какой мы можем ожидать от этой благодетельной силы? Нет. Кроме прямого воздействия на нашу волю, она во многих отношениях оказывает на нее и косвенное влияние.

Размышление дает нам возможность извлекать из нашего повседневного опыта известные правила — вначале непроверенные и неточные, но которые мало по малу подтверждаются, получают все большую определенность и наконец приобретают отчетливость и авторитетность руководящих принципов. Принципы эти создаются путем медленного отложения в глубине нашего сознания многочисленных мелких наблюдений. Такое отложение не может иметь места у легкомысленных, разбрасывающихся людей. Потому-то эти люди и не извлекают пользы из своего прошлого: как у невнимательных учеников, у них постоянно повторяются все те же solecизмы, те же неправильности, только здесь это уже будут неправильности поведения, а не речи. Напротив того, для тех, кто размышляет, прошедшее и настоящее есть как бы непрерывный урок, — урок, дающий им возможность не повторять в будущем тех ошибок, которых они могут избежать. Такие уроки с течением времени, так сказать, сгущаются в определенные правила, представляющие таким образом как бы квинт-эссенцию опыта. Выраженные в кратких, точных формулах, эти правила помогают нам дисциплинировать наши изменчивые желания, противоречащие друг другу природные влечения, и делают то, что в нашей жизни воцаряется прочный, неизменный порядок.

Такая сила воздействия, присущая всякому, точно сформулированному принципу, происходит от двух параллельных причин.

Во-первых, в психологии существует почти абсолютное правило, что всякое представление поступка, который мы должны выполнить или от которого мы должны воздержаться, — если только это представление достаточно ясно и не ослабляется присутствием враждебных ему эмоций, — обладает большою силой реализации, выражающейся в том факте, что между представлением о поступке и самим поступком нет существенной разницы. Раз действие воспринято, задумано, оно уже начинается. Представление действия, которое мы хотим выполнить, есть как бы «генеральная репетиция» этого действия: половинное усилие, предшествующее усилию полному, окончательному. Вследствие этого воспринятое действие выполняется очень быстро: дикая орда природных влечений не успевает подать голоса. Обратимся к примерам. Положим, что вы решили вернуться домой и засесть за работу, и знаете, что такой то товарищ, который уже просил вас идти с ним в театр, будет к вам приставать. Вы готовите заранее ваш ответ и, встретившись с ним, предупреждаете его просьбу словами: «Мне очень жаль: я собирался идти с тобой, но потому-то и потому-то должен сегодня непременно быть дома». Твердый, решительный тон, каким вы это скажете, отрежет аля вас все пути отступления и отнимет у вашего друга всякую возможность настаивать.

Как в области политики люди ясно сознанной мысли и смелой инициативы ведут за собой нерешительных, робких и резонеров, так и в человеческом сознании господами положения бывают всегда отчетливые, определенные психические состояния, и если человек обдумал в мельчайших подробностях тот образ действий, которому он намерен следовать, то выполнение предначертанной программы предупредит враждебные ему влияния: внушение лени, тщеславия и т.п.

Вот первая причина могущества принципов. Но она не единственная и даже не самая важная. Когда мы мыслим, мы не можем владеть за собой весь громоздкий багаж представлений и образов. Каждый отдельный класс предметов мы заменяем удобными для обращения сокращенными знаками, которые у нас всегда под рукой: эти знаки — слова. Мы знаем, что стоит нам остановить на миг наше внимание на том или другом знаке, и в нашем воображении встанет соответственный образ, — точь в точь, как оживают высохшие инфузории, если на них капнуть водой. То же происходит и с нашими эмоциями. Эмоция — вещь громоздкая, тяжеловесная, с которой мысль справляется лишь с трудом; поэтому в повседневном обиходе мы заменяем эмоции словами — коротенькими, удобными для обращения знаками, обладающими в высокой степени свойством возбуждать по ассоциации обозначаемые ими чувства. Есть слова до того выразительные, что они как будто трепещут тем чувством, которое обозначают; таковы, например, слова: честь, величие души, человеческое достоинство... низость, подлость и т.п. А выраженные в сжатой форме правила или принципы — это те же слова, выразительные, сокращенные знаки, обладающие свойством

возбуждать более или менее сильные и сложные чувства, которых они служат представителями в нашем сознании. Если размышление породило в нашей душе движение симпатии или отвращения, то — так как подобные движения вообще скоропреходящи — полезно всегда иметь в запасе краткую формулу, которая выражала бы данное чувство и могла бы снова вызвать его в случае надобности. Это тем более полезно, что точная формула замечательно твердо удерживается в памяти. Возникая очень легко, она приводит за собой соответственное чувство, которого служит практическим выражением: получая от него силу, она дает ему взаимно свою точность, свойство легко возбуждаться, легкость передвижения. Если, приступая к самовоспитанию, мы не запаслись точно сформулированными правилами, мы никогда не приобретем ни той эластичности, ни той широты взгляда, какие необходимы для борьбы с нашими внешними и внутренними врагами. Без точных правил битва будет происходить впотьмах, и самые блестящие наши победы останутся бесплодными.

Таким образом, точные правила поведения придают нашей воли решительность, быстроту действия, которая обеспечивает победу. Точные правила — это удобные для обращения заместители чувств, которые мы хотим в себе возбудить. И этих новых неоцененных пособников нашего самоосвобождения создает опять-таки размышление: ибо только одно размышление дает нам возможность отделять мысленно от нашего повседневного опыта те неизменные сосуществования и выводы, из которых складывается наше знание жизни, т.е. наша способность предвидеть и направлять будущее.

9. Итак, размышление возбуждает в нашей душе порывы эмоций, драгоценные для того, кто умеет ими пользоваться; кроме того размышление — наш великий освободитель, ибо оно поддерживает нас в борьбе с вихрем мыслей, чувств и страстей, беспорядочно вторгающихся в наше сознание, и дает нам возможность приостанавливать наплыв внешних впечатлений, оглядываться на себя, этакая возможность всегда оставаться самим собой служит неисчерпаемым источником счастья, ибо, вместо того чтобы пассивно, без оглядки, плыть по течению, мы можем возвращаться мыслью к нашему прошлому, переживать заново лучшие из наших воспоминаний.

Да и помимо этого: разве не приятно сознавать, чувствовать всем существом свою индивидуальность? Разве в борьбе с собой мы не испытываем чего-то похожего на удовольствие хорошего пловца, когда он борется с волнами, то отдаваясь их ласке, позволяя им нести себя и баюкать, то вызывая их на бой и пробивая себе путь под их белыми гребнями? Если победа над стихиями, сознание собственной силы в этой борьбе возбуждает в нашей душе такое глубокое чувство удовольствия, то понятно, какой животрепещущий интерес должна представлять для нас борьба нашей воли с грубыми силами эмоций. Корнель в своей трагедии изобразил в ярких красках высокое счастье, какое дает человеку власть над собой; вот почему Корнель так высоко стоит во мнении потомства. И трагедия его была бы еще человечнее, если бы борьба его героев с роковыми силами нашей животной

природы была продолжительнее, если бы победа доставалась им не так легко. Как бы то ни было, Корнель дает нам высокий идеал, и, благодаря этому, они не только заняли первое место между драматургами Франции, но признается одним из величайших гениев всех наций и времен.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Что значит размышлять и как размышлять

1. Раз мы признали, что в деле самоосвобождения размышление играет такую первостепенную роль, то ясно, что прежде всего мы должны постараться узнать, как надо размышлять и какую, если можно так выразиться, материальную поддержку может оказать нам в этом случае знание законов психологии и опыт.

Повторяю: цель сосредоточенного размышления возбуждать в нашей душе могущественные движения любви или ненависти, вызывать решения, создавать правила поведения, поддерживать нас в борьбе с двойным вихрем захватывающих нас сил: с психическими состояниями внутреннего происхождения и психическими состояниями, являющимися последствием впечатлений извне.

Общее правило, которым мы должны руководствоваться, чтоб размышлять с пользой, вытекает из самой природы мышления. Мы думаем словами. Как было указано выше, для того чтобы думать, человек должен был освободиться от образов реальных предметов, ибо образы — материал тяжелый, громоздкий, неудобный для обращения. Он заменил их коротенькими знаками, которые легко удерживаются в памяти и легко передаются другому: эти знаки — слова, служащие для выражения общих понятий. Ассоциируясь с предметом, слово имеет свойство вызывать в нас представление предмета по нашему желанию, но при том условии, чтобы слово вошло в наше сознание после ознакомления нашего с предметом, или по крайней мере чтобы знакомство с предметом сопутствовало ему. К сожалению, все мы в детстве прежде заучиваем слова, а потом уже знакомимся с предметами (исключение составляют только слова, служащие для обозначения самых простых, элементарных понятий), и в большинстве случаев мы не успеваем или не имеем возможности, а может быть и энергии дополнить «пустую шелуху слова зерном» обозначаемого им предмета. Такие слова — неполные или даже совсем пустые колосья. У всех у нас без исключения хранится в памяти большой запас таких слов. Я никогда не слышал, как ревет слон, и слово реветь по отношению к слону — для меня пустой колос. В обыкновенной речи масса таких слов. Желая, например, положить конец спору, какой-нибудь господин торжественно заявляет: «это доказано опытом», а сам не имеет ни малейшего понятия, что нужно для того, чтобы опыт имел действительную ценность. И так далее без конца. Если мы разберем слово за словом все фразы, какие мы произносим изо дня в день, нас поразит туманность наших мыслей, и мы сделаем любопытное открытие, что даже самые умные люди говорят зачастую как попугаи, т.е. произносят слова, лишенные всякого реального содержания.

Итак, размышлять — значит в некотором роде отделять зерно от соломы. Преобладающее правило в процессе размышления, это — в каждом отдельном случае заменять слова соответственными понятиями — не смутными, неопределенными представлениями, но яркими образами

предметов во всех их мельчайших подробностях. Мы должны всегда стараться сделать нашу мысль определенной, конкретной. Если мы хотим, например, привести себя к решению не курить, мы должны разобрать все вредные стороны курения, не пропуская ни одной: мы не забудем даже такой мелочи, как то, что от табачного дыма чернеют зубы, не говоря уже о лишней сотне франков в год, в которую обходится нам удовольствие выкуривать по сигаре каждые после обеда. Табак притупляет ум, говорит Толстой: мы проверим на себе это наблюдение. Выбрав такой день, когда наш ум особенно хорошо настроен к работе, мы возьмем какую-нибудь философскую книгу и станем следить за тонкой аргументацией автора — сначала не куря, а затем закурим сигару и попробуем продолжать. Мы сейчас же заметим, как трудно нам будет понимать, сосредоточивать нашу мысль после сигары, и, повторив этот опыт несколько раз, мы убедимся, что табак действительно притупляет ум — его высшие способности, его острие. С другой стороны, мы примем в расчет, что курение принадлежит к числу тех, чисто физических, удовольствий, которые очень скоро перестают существовать, как удовольствие, уступая место тиранической привычке. Мы припомним все случаи, когда нам приходилось страдать от этой привычки. Таким образом всеми вышеприведенными и многими другими соображениями мы укрепим в себе решение бросить курить, — решение, принятое нами в минуту подъема энергии, когда мы вполне владели собой. Так же должны мы поступать и во всех других случаях. Желая, например, прийти к решению работать, мы должны разобрать во всех подробностях неисчислимы радости, какие приносит нам труд.

В нашей борьбе с обманчивыми внушениями речи и страсти нам придется вдаваться в еще более мелкие частности анализа, старательно проверять ходячие мнения, установившиеся понятия. Читатель найдет пример такого анализа в практической части нашей книги, в нашем разборе общераспространенного мнения, что хорошо работать можно только в Париже.

Наконец, только подробный анализ, конкретное мышление, дает нам шансы безошибочно предвидеть с одной стороны те опасности, какими могут грозить нам наши страсти и лень, с другой — опасности или поддержку, каких мы можем ожидать от окружающей среды, от сближения с теми или другими людьми, от рода нашей профессии, от всевозможных случайностей и т.д.

Чтобы помочь размышлению, надо избегать шума, сосредоточиваться, читать книги, имеющие отношение к предмету нашего размышления в данное время, перечитывать свои заметки; надо наконец энергичным усилием воображения представлять себе отчетливо, точно, конкретно все подробности опасностей, которым мы подвергаемся, и преимуществ того или другого образа действий. Надо останавливаться на каждой подробности; пробежать их мельком недостаточно: надо видеть, слышать, осязать, обонять. Надо напрячь свою мысль, сделать ее интенсивной, так, чтобы представление исследуемого предмета было для нас так же реально, как самый предмет — да что я говорю: так же реально! — реальнее. Произведение истинного художника — драматическая сцена, картина природы — бывает логичнее,

цельнее и, следовательно, правдивее самой действительности. Таким художником должно быть в этом случае наше воображение: наши представления должны быть яснее, логичнее, правдивее, живее действительности и, следовательно, должны на нас больше влиять.

2. Для того, чтобы размышление произвело все свое действие, существуют вспомогательные средства, безусловно действительные. Богатые, как опытом своих предшественников, так и личными наблюдениями, проходящими через постоянную проверку исповеди, духовные отцы католической церкви — эти великие руководители человеческой совести, для которых возбуждение в душе человека могущественных эмоций есть не средство, как для нас, а высшая цель, — показывают нам, как важны в психической жизни самые ничтожные мелочи. Когда присутствуешь в церкви на какой-нибудь из наших религиозных церемоний, невольно проникаешься изумлением перед глубоким знанием человеческой природы, с каким здесь предусмотрена каждая малейшая подробность. Взять хотя похоронную службу: каждый жест, все позы, пение, орган, даже цвет стекол в окнах, — все здесь подобрано с поразительной логикой, все направлено к одной цели: превратить скорбь близких умершему людей в глубокий религиозный порыв. На человека, искренно верующего, такие церемонии должны действовать потрясающим образом: чувство благоговения должно проникать в его душу до самой сокровенной ее глубины.

Но даже в католической церкви религиозные обряды, так сильно действующие на душу человека, являются лишь исключительным средством, и для возбуждения религиозного чувства духовными отцами рекомендуются известные практические приемы, весьма действительные в этом смысле. Если взять только те практические средства, к которым они советуют прибегать в уединении, не говоря уже обо всем остальном, то нельзя не изумляться их безошибочному пониманию той тесной связи, какая существует между нашей физической и нравственной природой. Св. Доминик изобретает четки, как средство оживлять мысль простым ручным занятием, чем-то вроде игры. Св. Франциск Сальский советует, особенно в минуты уныния, прибегать к внешним действиям: принимать известные позы, способные возбуждать соответственные мысли, читать, даже произносить слова вслух. Паскаль постоянно твердит: «заставляйте кланяться автомата». Даже Лейбниц («Systema theologicum») на одной мало известной странице говорит: «Я решительно не разделяю мнения людей, которые под тем предлогом, что Божество надо почитать в разуме и истине, и недостаточно принимая в расчет человеческую слабость, изгоняют из религиозного культа все, что действует на внешние чувства и возбуждает воображение... мы не можем ни сосредоточить внимание на наших мыслях, ни прочно запечатлеть их в нашем сознании, не прибегая к каким-нибудь внешним знакам... и чем выразительнее эти знаки, тем они действительнее».

Таким образом, когда мы размышляем, и если энергия, вдохновение не приходят нам на подмогу, то чтобы поддержать наше внимание, мы должны прибегать к испытанным средствам: читать подходящие для нашей цели

книги, произносить слова вслух. (Последнее, как мы уже видели*, представляет очень верное средство, когда мы хотим нарушить данную цепь представлений и заставить наши мысли нам повиноваться.) Чтобы направить свои представления по произволу, следует даже записывать свои мысли; короче сказать, пользоваться той властью, какую имеют над ними презентативные состояния и преимущественно те, о которых мы сейчас говорили (записываемые или произносимые вслух слова и т.п.). Такими средствами мы устраним из нашего сознания то, что всего больше мешает размышлению, — воспоминания о чувственных удовольствиях, праздную игру воображения, — и займем его тем, о чем мы хотим думать в данный момент.

Последняя неделя каникул перед началом учебного года, по нашему мнению, самое подходящее время для такого рода размышлений; таким образом их следует возобновлять каждые каникулы, т. е. три раза в год, где-нибудь в уединении — в лесу или на берегу моря, а уединяться при таких условиях всегда приятно. Такого рода уединение в высокой степени полезно. Оно закаляет волю, делает молодого человека сознательной личностью. Но и в течение учебного года, в промежутках между дневными занятиями, необходимо урывать минуты для самоуглубления. Вечером — засыпая, ночью — проснувшись, или в минуты отдыха — что может быть легче, как, не поддаваясь ничтожным мыслям, ничтожным интересам, возобновить в памяти принятые нами хорошие решения, распределить на будущее время свои занятия и свой досуг? Или по утрам, во время одевания, перед тем, как сесть за работу, — что может быть полезнее, как «заставить сызнова зазеленеть деревцо наших добрых желаний» и начертать план наших действий на предстоящий день? Привычка часто размышлять, пользоваться для этого каждой минутой приобретается очень быстро; к тому же она так богата полезными результатами, что, я уверен, молодой человек никогда не раскается, если заставит себя выполнить ряд усилий, необходимых, чтобы эта привычка обратилась у него в потребность.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Значение действия в деле воспитания воли

1. Размышление, безусловно, необходимо, но одно, без поддержки действия, оно бессильно. Размышление соединяет разбросанные душевные силы, создает желание, побуждение, но как самый сильный ветер в конце концов истощается в бесплодных порывах, если не встретит на своем пути паруса, который воспользуется его силой, чтобы двинуть вперед корабль или челнок, — так и самая могущественная эмоция умирает бесплодной, если каждый из ее порывов не капитализирует некоторой доли своей энергии в поступке. Как известная часть той работы, которую выполняет учащийся юноша, отлагается в его памяти в виде воспоминания, так и привычка к деятельности слагается из отдельных действий. В нашей психической жизни ничто не пропадает; природа человеческая — аккуратный счетовод. Самое незначительное на первый взгляд действие, если оно повторяется недели, месяцы и годы, составляет в итоге огромную цифру, которая врезывается в нашей органической памяти в форме неискоренимой привычки. Время — наш драгоценный союзник в деле самоосвобождения, — если мы не заставим его работать для нас, будет с таким же спокойным упорством работать против нас. В своем воздействии на внутреннюю жизнь человека, время постоянно прилагает — на пользу ему или во вред — главный закон психологии, — закон привычки. Всевластная, уверенная в своей победе, привычка, не спеша, неслышно, невидимо, коварно, идет все вперед да вперед, как будто сознает свою силу, как будто понимает, какое огромное значение имеет для действия повторение. Раз действие выполнено, хотя бы с трудом, во второй раз оно выполняется уже легче. С каждым разом усилие уменьшается и наконец перестает существовать. Да что я говорю: перестает существовать! То самое действие, выполнение которого было вначале тягостно, неприятно, превращается мало-помалу в потребность, так что теперь уже не выполнить его становится тяжело. Да, привычка — драгоценный союзник хорошо направленной воли. Поразительно, с какой быстротой превращает она для нас в широкую, гладкую дорогу каменистые тропинки, по которым нам бывает иногда так трудно заставить себя идти. Действуя мягким насилием, она ведет нас туда, куда мы и сами решили идти, но куда нас не пускала наша врожденная лень.

Так вот это-то, так сказать, сгущение энергии в установившуюся привычку достигается не размышлением, а действием, поступком. Но говорить о необходимости действия вообще — недостаточно. Слова действие, деятельность объединяют в себе много отдельных понятий и слишком часто заменяют их в наших глазах. В данном случае нас интересует исключительно деятельность учащегося, студента. А для студента действовать — значит выполнять массу отдельных, специальных для его положения действий, и в том же смысле, как можно сказать, что воли нет, а есть только произвольные поступки, можно сказать и то, что нет деятельности, а есть только отдельные действия. Для студента философии, например, действовать — значит встать в семь часов, прочесть с полным вниманием такую-то главу из Лейбница или

Декарта, сделать по поводу нее свои заметки (такое чтение, уже само по себе требует целого ряда последовательных усилий внимания); затем старательно просмотреть эти заметки, хорошо их запомнить. Действовать для такого студента — значит собрать материалы для диссертации, набросать ее общий план, затем план каждого параграфа; действовать для него, значит размышлять, искать, исправлять написанное и пр., и пр.

В жизни редко выпадают случаи для совершения блестящих дел. Как какая-нибудь экскурсия на Монблан слагается из миллионов отдельных шагов, прыжков, усилий, зарубок во льду, так и жизнь величайших ученых состоит из длинного ряда терпеливых усилий. Итак, действовать — значит выполнять тысячи отдельных, маленьких действий. Боссюэ, бывший превосходным руководителем человеческой совести, предпочитал «великим экстраординарным усилиям, до которых мы возвышаемся в моменты энтузиазма, но после которых снова стремительно падаем вниз, мелкие жертвы, которые подчас бывают самыми мучительными, убивающими, скромные, но верные успехи, легко выполнимые, но повторяющиеся действия, которые нечувствительно переходят в привычку... Для каждого дня довольно немногого, лишь бы каждый день давал это немного»... Мужественный человек не тот, кто совершает чудеса храбрости, а тот, кто мужественно выполняет все маленькие дела своей жизни. Такой человек — ученик, который заставляет себя встать, чтобы отыскать в словаре нужное слово, хотя ему и очень не хочется вставать; который кончает начатую задачу или дочитывает скучную страницу, несмотря на сильное желание полениться. Вот такими-то, незначительными на первый взгляд, действиями и закаляется воля: «всякое дело приумножает ее». За неимением большого дела мы должны во всякий час дня выполнять маленькие, но выполнять их как можно лучше и с любовью. *Qui spernit modica paulatim decidet*. Общее правило: всегда, во всех самых ничтожных поступках стараться не поддаваться лени, игу желаний и побуждений извне. Следует даже искать случаев одерживать эти маленькие победы. Вас позвали во время работы, и у вас мелькнуло чувство досады: заставьте себя встать и немедленно с полной готовностью ответить на зов. После лекций товарищ уговаривает вас идти с ним гулять: погода превосходная, не слушайте его, возвращайтесь домой к вашей работе. По дороге домой вас соблазняет выставка книгопродавца: перейдите на другую сторону улицы и прибавьте шагу, чтобы не соблазниться. С помощью таких «распинаний» вы приучите себя одерживать верх над вашими влечениями, быть деятельным всегда и везде. Даже когда вы спите или гуляете, пусть это делается только потому, что вы хотели дать себе отдых. Так, еще на школьной скамье ребенок изучает науку, которая ценнее всякой латыни и математики: искусство владеет собой, бороться со своим невниманием, с отталкивающими трудностями учения, со скукой рыться в словаре или в грамматике, с желанием помечтать, полениться. И утешительным последствием этого является то, что успехи учения — что бы там ни говорили — всегда стоят в прямом отношении к успехам, каких достигает учащийся в этой первой из наук, — в науке власти над собой.

Вот до какой степени верно, что сила воли есть самое ценное приобретение и притом наиболее богатое хорошими последствиями.

Почему же все эти маленькие усилия так важны? Потому что ни одно из них не пропадает даром: каждое несет свою долю материала на построение привычки; каждое облегчает трудность следующего действия. Наши поступки влияют на нас, отлагаясь в нашей душе в форме привычек: привычки быть внимательным, привычки быстро приниматься за работу, привычки не прислушиваться к голосу наших желаний, как не прислушиваемся мы к жужжанию мух.

Помимо всего прочего, действие, как мы это видели выше, сильно поддерживает самую мысль. Ежеминутно вводя в наше сознание однородные с нашими мыслями презентативные состояния, действие оживляет наше внимание, когда последнее начинает притупляться. Записывать свои мысли, делать заметки во время чтения, формулировать свои возражения в точных словах, — все это, как мы уже видели, играет такую же вспомогательную роль в отношении мысли, имеет для нее такое же значение, как лабораторные работы для химика или геометрические формулы для геометра.

Но действие, поступок, имеет своим последствием еще одну чрезвычайно важную вещь. Поступок является в некотором смысле манифестацией: действовать — значит публично заявлять свою волю. Наши поступки обязывают нас перед общественным мнением, показывая, к какому лагерю мы принадлежим. Все моралисты утверждают, что если человек хочет изменить свой образ жизни, если он решил служить впредь долгу и правде, он должен «разом перейти на новый, истинный путь и идти по нему смело, без оглядки, поступая в разрез со всеми своими прежними привычками и наклонностями... он должен идти напролом, оторваться от своего прежнего «я» и, по энергичному выражению Вёлльо, «дерзко» служить своему Богу. Трудно себе представить, сколько энергии придает чувству и воле такая резкая, публичная манифестация. Прежние наши поступки привязывают нас к прошлому гораздо больше, чем это обыкновенно полагают; это происходит отчасти вследствие присущей каждому потребности быть логичным, — потребности, благодаря которой всякая непоследовательность действует на нас так неприятно, что мы предпочитаем лучше оставаться самими собой, чем изменить себе, хотя бы даже изменившись к лучшему, отчасти вследствие очень сильного в каждом из нас и вполне законного чувства уважения к чужому мнению, ибо мы знаем, что такая непоследовательность наших поступков будет истолкована, как признак крайней слабости воли, граничащей с сумасшествием. Вот почему раз мы решили бросить праздную жизнь, разорвать со своим прошлым, надо сделать это громогласно, открыто, чтобы наложить на себя обязательство чести перед собой и другими. Надо переменить ресторан, квартиру, знакомства. Путь в каждом нашем слове звучит решимость исправиться; все обескураживающие софизмы устраняются нами вежливо, но энергично. Мы уже не позволим больше осмеивать в нашем присутствии труд или восхищаться жизнью студента, какою живет большинство. Когда другие считают нас тем, чем мы хотели бы быть, это

удваивает наши шансы исправиться, ибо тогда на подмогу нашей слабости выступает потребность, которая так глубоко заложена в каждом из нас, — потребность в одобрении окружающих, и даже людей, которых мы не знаем.

Но полезное влияние действия этим еще не исчерпывается. Прибавьте к выше приведенным соображениям то наслаждение, которое несет с собой всякая деятельность, — наслаждение до такой степени сильное, что многие из нас действуют только затем, чтобы действовать, — без цели, без пользы, часто даже в ущерб себе. В этом наслаждении есть что-то острое, опьяняющее: быть может, это объясняется тем, что действие — более чем что-либо другое — дает нам ощущение нашей силы, заставляет нас чувствовать, что мы живем.

Таким образом, с какой стороны мы ни взглянем, присоединение действия, поступка, к размышлению является безусловно необходимым, ибо одно только действие может организовать прочные привычки, более того, превратить в потребность то, что вначале было положительно неприятно. Действуя, мы закаляемся в борьбе с роковыми влечениями нашей природы, привыкаем постоянно, ежеминутно одерживать верх над всем тем, что мешает нам достигнуть полной власти над своим «я». Кроме того, являясь публичной манифестацией нашей воли, в пределах, превышающих ее действительный уровень, поступок — действие закрепляет наши решения и своей силой, и силой общественного мнения, к которому оно обращается, и в довершение всего дарит нам в виде награды живую, бодрящую радость.

2. К сожалению, время произвольной деятельности очень коротко; притом большая часть нашего существования поглощается физиологическими нуждами и общественными отношениями. До пяти, шести лет ребенок живет жизнью животного. Он спит, ест, играет, и в этом заключается вся его жизнь. В этом возрасте ему дай Бог только успеть разобраться в хаосе осаждающих его сознание внешних впечатлений: внешний мир его ошеломляет; о том, чтобы господствовать над ним, не может быть и речи. До восемнадцати лет человек слишком занят изучением того, что говорили и думали другие, чтобы думать самостоятельно. Казалось бы, что, покончив с этим второстепенным, вспомогательным делом и закалив свои умственные способности многолетним бескорыстным общением с наукой, он мог бы наконец принадлежать себе, мог бы обратиться к изучению своего «я» и к наблюдению новой общественной среды, в которую он попадает. Но, к несчастью, даже в том случае, когда юноша достаточно знаком с окружающим его миром, ясность его взгляда внезапно затемняется, туманное облако встает между его наблюдательностью и его собственной личностью, с одной стороны, и с другой — между его критическим чутьем и окружающей общественной средой. Туманные мечты теснятся ему в душу, высокие бесцельные порывы наполняют его ум. Причина этого явления самая простая: в организме юноши совершается переворот; наступает возмужалость. И вот в том возрасте, когда, казалось бы, человеку так легко стать господином своего «я», он становится рабом своих страстей. Горе тому, кто, как это постоянно случается со студентами во всех университетских городах Европы и Америки, очутится один на полной свободе, без поддержки,

без руководителя, лишенный всякой возможности рассеять плотную атмосферу обманчивых иллюзий, которая его душит. Превратившись в студента, молодой человек словно угорает: он не в состоянии руководить собой и поневоле подчиняется предвзятым мнениям, которые слышит кругом. Кто из нас — взрослых, созревших людей, — возвращаясь мысленно к этой поре своей жизни, не посылал проклятий той безрассудной непредусмотрительности, с какою общество бросает юношу по выходе из лицея или гимназии одного в большой город, без нравственной поддержки, без руководящих принципов, если не считать такими принципами бессмысленных ходячих формул, в которых расписывается блестящими красками все то, что в сущности есть лишь звериная жизнь? Как это ни странно, но даже у отца семейства не редкость встретить что-то вроде предубеждения против трудящихся, скромных студентов, — вот до какой степени сильно влияние ходячих идей!

* Бомарше. «Свадьба Фигаро».

Прибавьте к этому, что в своем одиночестве молодой человек не умеет даже работать: у него нет системы в труде — ему ее не дали, — системы, которая была бы приспособлена к его силам и складу ума. Поэтому студенческие годы, — годы, которые уходят на высшее образование, для дела нравственного самоосвобождения обыкновенно пропадают. А между тем это хорошие годы, когда жизнь бьет ключом. Студент принадлежит себе почти безусловно. Бесчисленные тяготы жизни почти не давят его плеч. Он еще не носит ошейника профессии, ремесла. Нет у него и забот, которые приходят с семьей. Время принадлежит ему вполне и безраздельно. Но к чему служит эта внешняя свобода для того, кто не властен над собой? «Ты повелеваешь здесь всем — могли бы мы ему сказать — только не собой»*, и, поэтому, его дни слишком часто проходят бесплодно. Притом, даже при такой полной свободе, много времени поглощают роковые житейские нужды. Встать с постели, одеться — на это надо положить полчаса; хождение в университет и обратно, в ресторан и обратно, обед, пищеварение, несовместимое с умственным трудом, посещение знакомых, писание писем, непредвиденные помехи, необходимый моцион, недомогание, болезни, — все эти настоятельные надобности, с прибавкой восьмичасового сна, необходимого для человека, который работает, отнимают около шестнадцати часов в сутки. Нетрудно подвести итог. Позднее ко всем этим надобностям прибавятся еще обязанности профессии или службы, и тогда — даже урезав до последней возможности время обеда и прогулки — хорошо, если останется каких-нибудь пять часов в день, которыми человек может вполне располагать для любимого труда и спокойного размышления. С другой стороны, если из общей суммы работы вычесть время, которое уходит на справки в книгах, на переписку и вообще на самый процесс письма, и даже те секунды, когда мы дышим и когда никакое усилие невозможно, — нас удивит, как мало останется у нас времени на усилие мысли. Если вдуматься поглубже, нельзя не возмущаться лживостью всех этих биографий, способных только отнять у молодежи последнюю бодрость, — биографий, в которых нам описывают ученых и политических деятелей, работающих по пятнадцать часов ежедневно.

К счастью, как говорит Боссюэ (мы уже цитировали это место), «для каждого дня довольно немногого, лишь бы каждый день давал это немногое»: мы подвигаемся вперед даже при медленной ходьбе, если никогда не останавливаемся. Главное условие для умственного труда это — я не скажу регулярность, но: непрерывность. Гений есть лишь долгое терпение. Все крупные работы были выполнены настойчивостью и терпением. Ньютон открыл всемирное тяготение благодаря тому, что постоянно думал о нем. «Невероятно, какие чудеса делает время, когда мы имеем терпение его подождать и не торопиться», говорит Лакордэр. Взгляните, что происходит в природе: наводнение, опустошившее Сен-Жервесскую долину, принесло с собой самое ничтожное количество наносной земли, между тем как медленное действие морозов и дождей и едва заметное движение ледников — год за годом, камень за камнем, дробят скалистые стены и ежегодно заносят долины чудовищной массой земли. Какой-нибудь ручей, несущий песок, стирает изо дня в день свое гранитное русло; пройдут века, и в каменистой почве утеса образуется промоина огромной глубины. Так же и в человеческой жизни. Все большие дела создаются накоплением таких маленьких усилий, что если взять каждое в отдельности, оно покажется до смешного ничтожным в сравнении с выполненным трудом. Вся Галлия, когда-то покрытая лесами и болотами, была распахана, изборождена дорогами, каналами, железными дорогами, покрылась деревнями, городами, — и все это сделалось миллионами отдельных усилий, незначительных сами по себе. Каждое из писем, составляющих гигантскую «Somme» Св. Фомы Аквинского, — надо было, чтобы Св. Фома его написал; надо было далее, чтобы наборщики набрали их все для печати букву за буквой, и из всего этого труда, непрерывно возобновляющегося на несколько часов ежедневно в течение пятидесяти лет, вышло чудовищно громадное произведение. Действие, деятельность — настоящая, мужественная — выражается в двух формах неравного достоинства. Иногда она идет большими скачками, порывами, проявляет себя в минуты подъема энергии, а иногда, наоборот, выливается в настойчивом, упорном, терпеливом труде. Даже в военном деле, в основе нужных для него качеств лежит выносливость, способность не поддаваться усталости, упадку духа, и уже на этой основе разыгрываются от времени до времени блестящие военные подвиги. Но для труда не существуют даже подобные яркие взрывы энергии: усиленная работа приливами, полосами, не может быть одобрена ни в каком отношении: почти всегда за такой полосой наступает длинный период изнеможения и праздности. Нет, только настойчивое, долгое терпение — вот истинное мужество в труде. Главное, к чему должен стремиться студент, это — никогда не оставаться праздным. Время потому так и дорого, всякий это понимает, что потерянные минуты потеряны навсегда, безвозвратно. Поэтому время надо экономизировать. Но я далеко не сторонник строгого распределения времени по часам; расписания и таблички ни к чему не ведут. Большая редкость, чтобы им следовали с подобающей точностью, а наша лень так хорошо умеет создавать благовидные предлоги для своего оправдания, что зачастую мы пользуемся этими табличками, чтобы бездельничать в те часы, когда по расписанию полагается не работать. С щепетильной

аккуратностью соблюдаются только те статьи, в которых предписываются отдых, прогулка и т.п. С другой стороны, невозможность добиться того, чтобы установленные правила исполнялись во всех своих частностях, приучает волю видеть себя разбитой в своих усилиях их соблюдать, и сознанием, что мы выходим и всегда будем выходить побежденными из этой борьбы, отнимает у нас последнюю бодрость. Кроме того, очень часто случается, что человек не расположен к труду именно в те часы, когда по расписанию он должен работать, и чувствует себя способным работать в часы, назначенные для прогулки.

В умственном труде надо больше свободы, больше произвола; цель воспитания воли не в узком повиновении приказам какого-нибудь прусского капрала. Отнюдь нет. Совсем другою целью должен задаваться студент: он должен стараться быть деятельным всегда и во всем. А для такого дела нет определенных часов: все часы для него одинаково годны. Быть деятельным — значит храбро вскочить с постели поутру, живо одеться и сесть за рабочий стол без колебаний, не позволяя посторонним мыслям отвлекать нас от дела. Быть деятельным в труде — значит никогда не читать пассивно, а во всем и постоянно делать усилие. Но смысл выражения быть деятельным этим не исчерпывается: решительно встать из-за стола, когда пришла пора идти на прогулку, сходить в музей, когда мы чувствуем, что наш запас нервной энергии истощился и усилие перестает быть плодотворным, — тоже значит быть деятельным. Ибо в высшей степени неблагоприятно насиловать свою энергию, когда она отказывается служить: такие усилия только истощают и обескураживают. Минуты временного упадка энергии — не потерянные минуты: надо только уметь ими пользоваться. Посещение художественных выставок, беседы с умными, развитыми товарищами могут с большой пользой наполнить такие минуты. Можно быть деятельным даже в еде, стараясь хорошенько разжевывать пищу, чтобы не обременить желудок излишней работой. Главный враг молодежи — это минуты косности, безвольной апатии, проходящие в постыдном безделье, — те минуты, когда человек часами просиживает за своим туалетом, когда он с утра до вечера зевает, заглянет в одну книгу, возьмется за другую, когда он не может прийти ни к какому решению, когда у него нет сил ни приняться за работу, ни откровенно сказать себе: сегодня я буду лениться. Чтобы быть деятельным, нет надобности искать для этого случаев, ибо такие случаи представляются с утра до ночи ежедневно.

Превосходное средство заставить себя быть деятельным — это никогда не засыпать, не назначив себе работы на завтра. Я говорю не о количестве работы: такое аккуратное отмеривание ни к чему не ведет; о нем можно сказать то же, что мы только что говорили о «распределении времени по часам»: нет, я разумею лишь характер, род труда. Затем, на следующее утро, проснувшись, еще одеваясь, человек, если можно так выразиться, хватается свой ум и, не давая ему времени развлечься посторонними мыслями, запрыгает его в работу; насильно тащит свое тело к рабочему столу, сажает, и прежде чем оно успело запротестовать, рука уже взялась за перо и пишет.

Мало того: если бы случилось, что во время прогулки или за книгой мы вдруг почувствовали, что совесть упрекает нас за праздность, если бы в одну из таких праздных минут на нас вдруг сошла благодать и мы осознали бы в себе доброе движение, — надо сейчас же им пользоваться. На свете немало людей, которые, положим, в пятницу утром храбро решают, что, начиная с понедельника, и ни одним днем позже, они засядут за работу. Не будем подражать таким людям. Если человек решил, что он будет работать, и не принимается за дело немедленно, он лжет самому себе: его воображаемое решение — бессильное желание, не больше. Надо пользоваться добрыми движениями души, «ибо это голос Божий, который нас зовет», говорит Лейбниц. Растрачивать попусту такие движения, обманывать свою совесть, откладывая их выполнение на «после», не пользоваться ими немедленно, чтобы укрепить в себе хорошие привычки, чтобы вполне насладиться бодрящими, прочными радостями труда, — величайшее преступление, какое только мы можем совершить против воспитания нашей воли.

Так как цель наша не в подчинении нашей деятельности узкой регламентации, а в том, чтобы действовать энергично всегда и во всем, то мы должны пользоваться каждою четвертью часа, каждой минутой. Вот что говорит о Дарвине его сын: «Уважение ко времени было одной из отличительных черт его характера. Он никогда не забывал, как дорого время... он пользовался каждой минутой... он никогда не терял свободной минуты, когда она у него выдавалась, никогда не говорил себе: «теперь уже не стоит приниматься за работу»... он делал все быстро и, так сказать, со сдержанным пылом». Эти минуты, эти «четверти часа», которые почти каждый из нас так глупо теряет под тем предлогом, что, располагая таким коротким временем, не стоит ни за что приниматься, к концу года составляют огромный итог. D'Агессо (если не ошибаюсь, это был d'Агессо), ежедневно дожидавшийся завтрака, который никогда не поспевал в назначенный час, в один прекрасный день преподнес своей жене в виде *hors d'oeuvre* книгу, написанную им за все эти минуты и четверти часа ожидания. Каких-нибудь пяти, десяти минут вполне достаточно, чтобы «подтянуть» свое внимание, с толком прочесть параграф-другой, подвинуть свою работу на несколько строк, переписать какой-нибудь отрывок, просмотреть свои заметки или оглавление книги.

Справедливо сказано, что человеку всегда хватает времени, когда он умеет с ним обращаться. Не менее справедливо и то, что у кого много досуга; тому редко хватает времени на нужные дела, и жаловаться, что у нас нет времени на работу, — значит сознаваться в своем малодушии, в своей трусости перед всяким усилием.

Но если мы проследим, отчего так часто теряется время, то увидим, что в большинстве случаев наша природная слабость еще поддерживается, так сказать, неопределенностью предстоящего нам дела. Мне приходилось много раз испытывать на себе, что, если перед сном я не назначу себе определенной работы на следующий день, у меня пропадет все утро. И, назначая себе такой «урок», никогда не следует говорить в общих выражениях: «Завтра я буду

работать» или даже: «Завтра я займусь Кантом», а надо сказать себе точно и определенно: «Завтра я решительно начинаю читать с первой главы «Критику практического разума» Канта или: «Завтра я проштудирую такую-то главу по физиологии и составлю конспект».

Итак, следует всегда задавать себе строго определенную работу; но к этому правилу необходимо присовокупить и другое, а именно: всегда кончать начатое, и кончать добросовестно, чтобы не приходилось возвращаться назад. Никогда не иметь надобности начинать сызнова ту же работу, стараться, чтобы всякое наше дело выходило законченным, — трудно себе представить, какая это огромная экономия времени. Руководствуясь этим правилом, наш студент должен читать основательно, с полным вниманием, делать конспекты, выписки, если он предвидит, что они могут быть ему полезны в будущем, и тут же каждую свою заметку заносить под соответствующую рубрику оглавления, что даст ему возможность разыскать ее, когда представится надобность. При такой системе никогда не приходится возвращаться к прочитанной книге, если только она не принадлежит к числу наших любимых. При этой системе мы подвигаемся медленно, но так как мы не делаем ни одного шага, не укрепив предварительно свой тыл, то нам не приходится отступать, и — хоть и медленно — а все-таки мы подвигаемся вперед твердо и безостановочно и даже, как обезьяна в басне, опережаем более легкого на ногу, но менее систематичного зайца. Age, quod agis: вот, на наш взгляд, основное правило для всякого труда; делать все чередом, основательно, не суется, не спеша. Великий пенсионер Витт заправлял всеми делами республики и, несмотря на это, находил время бывать в обществе, ужинать в гостях. Как-то раз его спросили, как он успевает переделывать такую массу дела и еще развлекаться. «Ничего не может быть проще, — отвечал он: — весь секрет в том, чтобы всегда делать только одно дело зараз и никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Лорд Честерфильд, советуя своему сыну не терять времени даже в отхожем месте, привел ему в пример одного господина, который имел обыкновение брать с собой в это место по несколько страниц дешевого издания Горация, «которые и отправлял потом вниз»... Не доводя экономию времени до такой крайности, нельзя, однако, не согласиться, что утилизация каждой свободной минуты в интересах одной определенной цели приносит богатые плоды. Деятельность, которая не умеет подчиняться правилу не делать больше одного дела за раз, — беспорядочная деятельность, лишенная единства и вследствие этого перескакивающая с предмета на предмет. Такая деятельность, пожалуй, хуже праздности, ибо праздность набивает оскомину и возбуждает отвращение к себе, тогда как суетливая, беспорядочная деятельность, благодаря своей бесплодности, вызывает в результате отвращение к труду; вместо глубокой радости успешной работы она приносит нам недовольство собой, озлобление и ощущение угара, — неизбежные спутники постоянно начинаемых и никогда не кончаемых дел. Св. Франциск Сальский усматривает козни дьявола в таких непрерывных переходах от одного дела к другому. Не следует, говорит он, делать по несколько дел в одно время, «ибо враг зачастую нарочно

вкладывает нам в душу несколько замыслов и заставляет нас начинать несколько дел затем, чтобы, обремененные непосильной работой, мы ничего не кончали и оставляли все недоделанным... Подчас он даже внушает нам желание предпринять какое-нибудь очень хорошее дело, предвидя, что мы его не исполним, и только для того, чтобы отвлечь наши мысли от другого дела, не такого хорошего, но которое мы могли бы легко довести до конца».

Кроме того, я часто замечал, что начатое и не конченное дело, больше чем что-либо другое, заставляет нас терять время. Не конченное дело оставляет после себя беспокойное чувство вроде того, какое мы испытываем после долгих и тщетных попыток решить математическую задачу: чувствуется недовольство, досада; предмет покинутой работы мстит нам за пренебрежение, занимая собой наши мысли и мешая нам углубиться в другую работу, и все это происходит от того, что возбужденное внимание не получило законного удовлетворения. И наоборот, когда работа выполнена добросовестно, мы испытываем успокоение, что-то вроде удовлетворенного аппетита; мысль освободилась от своей заботы и может спокойно перейти к другому занятию.

Вышесказанное относится не только к прерванной, но и к невыполненной работе, — к такой, которую мы должны сделать, но не делаем. Мы чувствуем, например, что надо — непременно надо написать такое-то письмо, и не пишем. Дни проходят; мысль о письме не покидает нас, мучит нас угрызением и становится все назойливее. Письмо все-таки не пишется. Наконец чувство неудовлетворенности становится до того невыносимым, что мы решаемся, садимся и пишем. Письмо готово, но — поздно: запоздалая работа не приносит нам той радости, какую принесла бы, сделай мы ее вовремя.

Пусть же каждое наше дело выполняется своевременно и делается основательно.

3. Когда в молодом человеке укоренилась, важная, столь обильная хорошими последствиями привычка принимать решения быстро, без колебаний, действовать не спеша, не суетясь, делать свою работу чисто, добросовестно, аккуратно, то нет той умственной высоты, до которой он не мог бы подняться. Явилась ли у него новая идея, представился ли ему старый вопрос в новом освещении, — его мысль не умрет: он будет вынашивать ее в себе; восемь, десять лет усидчивого труда разовьют ее, сделают плодотворной. Она притянет к себе сотни образов, найдет сравнения, уподобления там, где их не находят другие; она соорганизует весь этот материал, будет им питаться, подкрепляться и расти. И как из желудя выходит могучее дерево, так из мысли, оплодотворенной многолетним вниманием, вырастет могучее творение и — как военный рожок, трубящий солдатам в атаку, — призовет на борьбу со злом всех честных людей. А может быть и то, что мысль примет конкретную форму, воплотится в жизни — деятельной, благородной, исполненной правды, добра и единства.

И наконец, — мы не должны закрывать на это глаза, — раз человек поднялся на известную умственную высоту, раз ему выпало на долю это великое счастье, у него есть обязанности. Умственный аристократизм, — аристократизм образования, высшего развития, — ничем не лучше денежной аристократии и также ненавистен, коль скоро умственное превосходство не искупается превосходством нравственным. Все вы, молодые люди, окончившие курс среднего образования, — студенты-юристы, медики, естественники, филологи, — все вы связаны священным обязательством перед народом: более, чем кто-либо другой, вы обязаны деятельно, неустанно служить тем, кому приходится добывать свой хлеб тяжелым трудом, кто лишен всякой возможности перенести свой умственный взгляд за пределы настоящей минуты. Во всех государствах, даже при всеобщей подаче голосов, правящие классы будут всегда по необходимости формироваться из студентов, ибо народ, большинство, не может управлять собой и всегда будет брать себе руководителей из числа просвещенных людей, имеющих возможность развить и укрепить свой ум многолетней бескорыстной культурой. Такая исключительность положения, — положения молодого человека, получившего высшее образование, — создает свои обязанности, ибо ясно, что для того, чтобы управлять другими, надо прежде научиться управлять собой. Чтобы наша проповедь умеренности, бескорыстия, самоотвержения имела успех, надо, чтобы она подкреплялась примером; надо уметь самому бодро трудиться и энергично действовать словом и делом.

Если бы из года в год хоть по шести человек студентов возвращалось на родину, в провинцию, в свои родные деревеньки и города в качестве врачей, адвокатов, профессоров с твердой решимостью не пропускать случаев говорить и действовать для общего блага, относиться человечно и с уважением к каждому человеку, как бы ни было скромно его общественное положение, — с твердой решимостью никогда не оставлять несправедливости без деятельного и упорного протеста, стараться ввести в общественные отношения больше доброты, больше истинной справедливости и терпимости, то в каких-нибудь двадцать лет, на благо страны создалась бы новая аристократия, всеми уважаемая и всемогущая в смысле благотворного влияния ее на общество. Если молодой человек, выходя из университета и избирая профессию — будь то медицина, адвокатура или другое что, — смотрит на ее только как на источник наживы и не мечтает ни о чем, кроме грубых, бессмысленных удовольствий, он — негодяй, и, к нашему счастью, общественное мнение все меньше и меньше заблуждается по этому вопросу.

4. Но — могут нам возразить — вечный, непрерывный труд, вечное корпенье над одной идеей, без отдыха и срока, — такая страшная работа не может не вредить здоровью. Это возражение исходит из тех ложных воззрений, какие мы составили об умственном труде. Дело в том, что непрерывность понимается нами в общепринятом смысле. Ясно, что всякий труд прерывается сном, т.е. полным отдыхом; ясно также (после того, что было сказано выше), что большая часть времени бодрствования по необходимости не может иметь никакого отношения к умственным занятиям.

Работать — это значит заставлять себя думать о предмете наших исследований только в течение того времени, которое не занято ничем другим. С другой стороны, слово работа отнюдь не должно вызывать в воображении фигуры молодого человека, сидящего, согнувшись, над письменным столом: можно размышлять, сочинять, даже читать на ходу, это даже лучший способ работать, наименее утомительный и самый практичный в смысле успешности труда. Ходьба удивительно облегчает работу усвоения и распределения материалов.

Если человек занимается умственным трудом, это еще не значит, что он должен быть неблагоразумным, особенно в наше время, когда каждому известно, какая тесная зависимость существует между нашей физической и духовной природой. Всякий невежа был бы вправе нас осмеять, если бы, работая головой, мы не сумели сберечь свое здоровье, тем более, что в умственном труде собирание материалов есть дело второстепенное; гораздо важнее их подбор и распределение. Ученый — не тот, кто знает массу фактов, а тот, кто постоянно работает умом. Не следует смешивать науку с эрудицией. Эрудиция слишком часто есть лишь синоним умственной лени. Для того чтобы создавать, мало иметь хорошую память: надо, чтобы ум свободно владел материалами и чтобы последние не загромождали его.

Хотя вообще считается интересным иметь болезненный вид, когда это приписывается нашей усиленной работе и таким образом, по общему мнению, делает честь нашему характеру, но, даже допустив, что казаться больным при таких условиях действительно интересно, надо еще доказать, что именно труд, а не что другое вызывает этот болезненный вид. А этого нельзя доказать: ибо для этого надо было бы проследить все вероятные причины явления, что в данном случае невозможно. И потому — отчего не сказать этого прямо? — мы никогда не можем быть уверены, что то, что приписывается труду, не происходит, например, от чрезмерно развитой чувственности. Не думаю, чтобы в коллежах и в университетах часто встречались истощенные юноши, которые вели бы вполне воздержанную жизнь; к сожалению, единственная причина истощения в этом возрасте — это порочные привычки.

Но помимо чувственности, приводящей к таким прискорбным последствиям, есть и другие причины истощения — нравственные причины: разочарование, зависть, ревность и больше всего болезненное самолюбие, чрезмерная щепетильность, — последствия ложного представления о значении своей личности, преувеличенного чувства своей индивидуальности. Если у человека хватило энергии прогнать эти вредные, разъедающие чувства, то вот уже и устранена одна из главных причин истощения.

Мне кажется, что умственный труд, когда он приведен в систему, когда соблюдаются правила гигиены, другими словами, когда человек ценит свою жизнь, а следовательно и время, которое одно только может дать нашей мысли высокое развитие, — труд бодрый и уверенный в себе, свободный от компромиссов с чувственностью, завистью и оскорбленным тщеславием,

действует на здоровье в высшей степени благотворно. Когда мы выбираем свои впечатления сознательно, когда мы произвольно занимаем наше внимание высокими и плодотворными идеями, нашей мысли остается только их разработать и организовать, и если материалом ей служат случайные впечатления, она утомляется нисколько не меньше. Но разница в том, что случайные впечатления — этот враг нашего покоя — почти всегда приносят с собой много неприятного. Человек живет в обществе и нуждается в уважении и даже в похвалах окружающих. А так как окружающие редко бывают о нас такого же хорошего мнения, как мы сами, так как, с другой стороны, большинство наших присных страдает отсутствием такта, а зачастую и человеколюбия, то человеку в его общественных отношениях, и какого бы ни было его общественное положение, приходится обыкновенно получать много щелчков. Таким образом — и настоящего работника это должно только еще больше ободрить — праздные люди жестоко платятся за свою лень: их пустой, ничем не занятый ум, подобно невспаханному полю, зарастает сорными травами; все их время проходит в переживании ничтожных впечатлений, мелких ударов самолюбия, в мелочной возне с ничтожными мыслями, которые внушают им зависть, мелкое честолюбие и т.д.

Нет лучшего средства обеспечить себе счастье, как заменить мелкие заботы, мелкие интересы серьезным, настоящим делом; а счастье — синоним здоровья. Вот до какой степени верно, что труд есть закон, обязательный для всего человечества, и что те, кто нарушает этот закон, тем самым навсегда отрекаются от всех прочных и возвышенных радостей жизни.

К вышесказанному можно прибавить, что разбросанный, беспорядочный труд утомляет и что мы очень часто приписываем труду то, что происходит, в сущности, от неумелой организации труда. Утомляет не труд, а многосложность занятий, из которых ни одно не приносит успокоительного чувства, каким сопровождается всякое дело, доведенное до конца. Ум мечется между разнообразными занятиями и — чем бы он ни занимался — не может отделаться от смутного ощущения беспокойства: начатые и неоконченные дела назойливо напоминают ему о себе. Мишле говорил де Гонкуру, что до тридцати лет он страдал страшнейшими мигренями вследствие слишком большого разнообразия занятий; он решил бросить читать книги и начать их писать: «С этого дня, просыпаясь, я знал, что я буду делать, и благодаря тому, что мысль мою занимало только одно дело зараз, я выздоровел». Ничего не может быть справедливее; пытаться вести одновременно несколько работ — значит обрекать себя неизбежному утомлению. Age, quod agis: то, что мы делаем, будем делать основательно. Как мы уже видели, это не только хороший способ, чтобы быстро подвигаться вперед, но и самое верное средство избежать утомления и получить в награду глубокие радости, какие дает нам работа, добросовестно доведенная до конца.

5. Подведем итог. Итак, размышление возбуждает в нашей душе могущественные эмоции, но не может капитализировать их в привычках. А между тем воспитание воли только тогда и возможно, когда она создает хорошие и прочные привычки: без этого каждое усилие приходилось бы

постоянно возобновлять. Только привычка упрочивает за нами победу и дает нам возможность подвигаться вперед. Привычку же — теперь мы это знаем — может создать только действие, поступок.

Действовать — значит мужественно выполнять каждое из отдельных маленьких действий, обуславливающих достижение определенной цели. Действие, поступок, укрепляет мысль, обязывает нас перед общественным мнением и дарит нам глубокие радости.

К сожалению, время сознательной умственной деятельности — и без того короткое — еще укорачивается благодаря отсутствию системы в умственном труде, но, несмотря на это, как уже сказано: «для каждого дня довольно немногого, лишь бы каждый день давал это немногое». Бесперывно возобновляемое, терпеливое усилие творит чудеса; поэтому наш студент должен стараться усвоить себе привычку быть всегда деятельным. Каждый вечер он должен назначать себе работу на завтра; он должен пользоваться добрыми движениями своей души, всегда кончать начатое дело, не делать больше одного дела зараз и не терять ни одной свободной секунды. Раз он усвоил такие привычки, перед ним открыты все поприща; он может отблагодарить общество за оказанные ему благодеяния, уплатить народу свой долг, который, как честный человек, он обязан признавать.

Умственный труд — если понимать его в этом смысле — не может привести к истощению: физическое истощение, которое обыкновенно приписывают труду, в действительности является почти всегда последствием чувственности, тревожного состояния духа, эгоистических чувств или отсутствия системы в труде. Умственный труд — когда он понимается правильно — привычка к общению с возвышенными, благородными мыслями может только поддерживать и укреплять здоровье, если правда, что спокойствие, ясность духа, ощущение счастья есть одно из важнейших физиологических условий для того, чтобы человек был здоров.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Физическая гигиена для учащейся молодежи по отношению к воспитанию воли

I. До сих пор мы рассматривали воспитание воли с психологической точки зрения. Теперь нам остается разобрать физиологические условия, необходимые для того.

чтобы оно было возможно. Воля и ее высшая форма, внимание, не отделимы от нервной системы. Если нервные центры быстро истощаются или если нервная энергия, истощившись, возвращается лишь медленно и с трудом, никакое продолжительное усилие невозможно. Физическая слабость сопровождается слабостью воли, неспособностью к энергичному и продолжительному вниманию. И если мы примем в расчет, что неутомимая энергия во всех родах деятельности есть главное условие успеха, нам будет нетрудно прийти к заключению, что для того, чтобы одержать победу над своим «я», надо быть прежде всего «хорошим животным». Моменты нравственной энергии всегда почти совпадают с теми светлыми моментами, когда наше тело, как хорошо настроенный инструмент, ведет свою партию гладко, не издавая ни одного фальшивого звука и не отвлекая на себя нашего внимания. В такие моменты полной энергии воля всесильна, и внимание способно напрягаться до очень высокого градуса. Наоборот, когда нам нездоровится, когда мы чувствуем слабость, нас тяжело гнетут те цели, которыми наша душа прикована к телу. Таким образом, слабость воли очень часто объясняется ненормальностями физиологического порядка. Прибавьте к этому, что естественной наградой всякого труда, упражняющего силы, не истощая их, бывает чувство благосостояния, удовольствия, которое длится довольно долго. Но если труд с первых же минут вызывает истощение, то это приятное чувство возрастающей энергии уже не приходит, а заменяется тяжелым ощущением усталости, отвращения: не принося живительного наслаждения — естественного своего последствия и награды, труд для таких несчастных, хилых людей является тяготой, страданием, каторгой.

Кроме того, все психологи единогласно признают важное значение физиологических усилий для памяти. Когда кровообращение деятельно, когда к мозгу приливает чистая, богатая кровь, — воспоминания, а следовательно и привычки запечатлеваются в сознании быстро и надолго.

Необходимое условие всякого хотения и продолжительного энергичного внимания, в свою очередь обуславливающего память, — здоровье — не только вознаграждает труд чувством удовольствия, естественного спутника труда, но представляет также и главное условие счастья. По одному удачному сравнению, здоровье есть цифра, которая, будучи поставлена перед нулями человеческой жизни, превращает их в величину. Говоря о Гарлее, имевшем прелестную жену и обладавшем всеми житейскими благами, Вольтер выразился так: «Если желудок его не варит, у него ничего нет».

К несчастью, при известных условиях умственный труд может вредить. Умственный труд — как его обыкновенно понимают — требует

неподвижности тела, сидячего положения, вообще сидячей жизни и постоянного пребывания в душной комнате. Все это, в соединении с негигиеничным питанием, очень скоро приводит к ослаблению деятельности желудка, к затрудненному пищеварению, а так как желудок окружен целой сетью нервов, то всякое нарушение правильных отправлений этого органа сильно отражается на нервной системе. После еды кровь приливает к голове, ноги легко зябнут; чувствуется оцепенение, сонливость, которую вскоре сменяет раздражительность, представляющая такой резкий контраст с тем чувством бодрости и довольства, какое испытывают после еды крестьяне и рабочие. Нервная система понемногу расшатывается; и кончается тем, что человек становится рабом своих впечатлений: малейшая неприятность вызывает сердцебиения, судорожные сжатия желудка. Это первая степень нервозности, ибо нервозность, в огромном большинстве случаев, имеет своим источником неисправность функций питания. Мозг перестает играть роль главного регулятора жизни, и вместо равномерных, сильных ударов здорового пульса, вместо энергичной жизненной деятельности получается болезненная раздражительность организма.

Но время, которое дает нам неограниченную власть в деле воспитания воли, дает нам также и возможность изменить наш темперамент и укрепить наше здоровье. Есть одно знаменитое сравнение Гёксли: он сравнивает человека с шахматным игроком, имеющим своим партнером терпеливого и беспощадного противника, который не прощает ему ни малейшего промаха, но зато щедро платит за хорошую игру. Противник этот — природа, и горе тому, кто не знает правил игры. Знание этих правил (иначе говоря, законов природы, открытых учеными) и в особенности приложение их на практике обеспечивает выигрыш ставки, т.е. здоровья. Но здоровье, как и нравственная свобода, завоевывается не легко: его дает нам не *fiat*, а бесконечное повторение неделями и месяцами определенных маленьких действий или такое же упорное воздержание от известных мелких поступков. Чтобы завоевать себе здоровье, надо обращать внимание на всякую мелочь и понимать истинное значение каждого частного вопроса. Надо следить, чтобы в комнате не было ни слишком холодно, ни жарко, ни сыро; надо следить за чистотой воздуха, за освещением; надо заботиться о своей еде, делать достаточно мотиона и т.д.

Но ведь этак все время будет уходить на заботы о своем теле, могут нам возразить: если так возиться с собой, тогда и жить не стоит. Чистейший софизм. Такие заботы — дело привычки. Мы потратим не больше времени, питаясь по правилам гигиены, чем тратим теперь, когда едим что попало. Мы потратим столько же времени, если выйдем после обеда немного пройтись, как и в том случае, если останемся лениво сидеть в своем кресле или будем читать газеты в кафе, с тою только разницей, что в сидящем положении мы плохо переварим свой обед. Возобновлять от времени до времени воздух в своей рабочей комнате — это такая ничтожная трата времени, что о ней и говорить не стоит. Совершенно достаточно, если мы определим раз навсегда, в чем мы должны изменить свой режим. Если мы поступаем неблагоприятно,

то единственная причина этому — наша лень: умственная лень, мешающая нам соображать и предвидеть, и физическая, мешающая исполнять.

Повторяю: нашей наградой будет здоровье, т.е. необходимое условие всего остального — успеха и счастья.

¹ G. See. Formulaire alimentaire. Bataille et Cie, 1893.

Особенно внимательно мы должны следить за нашим питанием. Вопрос питания сводится к вопросу о качестве и количестве поглощаемой пищи. До появления исследований Бертло вопрос о питании оставался эмпирическим. В настоящее время он поставлен достаточно ясно. Теперь мы уже знаем, что для возобновления тканей необходимы белковые вещества и что ни жиры, ни углеводы не могут их в этом случае заменить. Итак, белковые вещества необходимы для питания. Но если в желудок ввести большее количество белковых веществ, чем того требует организм, то получается весьма курьезный результат. Введенный излишек вызывает выделение белка, значительно превышающее поглощенное количество белковых веществ и истощающее организм¹.

Кроме того, каково бы ни было количество поглощаемых белковых веществ, вместе с белком необходимо вводить в организм и жировые, и углеводистые вещества, иначе будет происходить выделение белка, тогда как с введением жировых и углеводистых веществ оно прекращается.

Итак, чтобы составить свое ежедневное питание по правилам гигиены, стоит только обратиться к специальным сочинениям и вычислить содержание каждого рода пищи в белковых, жировых и углеводистых веществах.

Сопоставьте цифры с тем, как мы едим в действительности, и вывод будет ясен: мы едим слишком много, в особенности слишком много мяса. Мы задаем непосильную работу желудку и кишкам. У большинства людей из обеспеченных классов большая часть жизненных сил, получаемых от питания, уходит на пищеварение. Не думайте, что я преувеличиваю. Переваривая поглощаемое нами количество пищи, мы переварили бы стенки желудка и кишок, если бы ткань, защищающая их внутреннюю поверхность, не возобновлялась непрерывно. (Известно, что эта ткань возобновляется очень быстро по мере того как пищеварительные соки ее разъедают.) А это громадная работа. Кишки, если их вытянуть, занимают длину, в семь или восемь раз превышающую наш рост при ширине в 12 дюймов (30 сантиметров). Следовательно, площадь поверхности кишок и желудка, находящаяся в работе во время пищеварения, равняется по меньшей мере 50 квадратным футам. А если при этом мы вспомним, что и без того значительная работа постоянного возобновления внутренних тканей в течение нескольких часов ежедневно еще усугубляется благодаря шероховатостям, покрывающим всю эту огромную поверхность, если мы примем в расчет, сколько сил уходит на разжевывание пищи, на перистальтические движения кишечника, на образование нужного количества слюны, пищеварительных соков и желчи, то мы поймем, какой огромной затраты сил требует пищеварительный акт.

Не очевидно ли после этого, что человек, который слишком много ест, — ничего больше как животное, раболепный слуга своих пищеварительных органов? Прибавьте к этому, что большинство таких людей, ввиду почтенного количества блюд, которые им надо отправить в желудок, находят слишком скучным хорошо разжевывать пищу, усугубляя и удлиняя работу пищеварения еще этой статьей, ибо когда пища недостаточно размельчена, то нужно очень много времени, чтобы пищеварительные соки ее пропитали.

Какую пользу могла бы принести небольшая брошюрка с табличкой, где было бы обозначено содержание каждого рода пищи в усвояемых количествах белковых, жировых и углеводистых веществ! Во всех специальных трактатах по этому предмету приведено содержание различного рода пищи в азотистых веществах; поэтому в настоящее время мы знаем, что очень многие азотистые соединения не представляют, собственно говоря, восстанавливающей пищи. Имея перед собой такую табличку, каждый студент мог бы составить приблизительно свое меню, и в результате получилась бы двойная польза: во-первых, он бы тогда правильно питался, во-вторых, его пищеварительные органы были бы избавлены от лишней работы, производящейся в ущерб умственному труду. Вопрос о том, сколько раз в день и в какие часы следует есть, — ничтожный вопрос в сравнении с вопросом об относительном количестве составных частей пищи. Мы вовсе не требуем, чтобы студент взвешивал, как это делал Корпаро, все, что он съедает в течение дня; но после пяти-шести таких взвешиваний он мог бы составить приблизительное понятие о том, сколько ему следует есть, и избежал бы по крайней мере той страшной траты сил, которой подвергается каждый молодой человек, посещающий ресторан, где под шум разговоров и споров молодежь наедается до пресыщения.

Гигиена дыхания проще. По-видимому, дышать чистым воздухом не составляет даже потребности. Немало видел я молодых людей, готовых лучше дышать испорченным, отвратительным воздухом, чем впустить в комнату немножко холода, отворив форточку. Устройство в этом отношении воспитательных учреждений и частных домов находится в первобытном состоянии. А между тем доказано, что испорченный воздух делает человека беспокойным, раздражительным, недовольным. Не получая здорового возбуждения, которое дается чистым воздухом, организм поневоле должен искать ненормальных возбуждений. Студенту, который имеет свою отдельную комнату, нет никакой необходимости вдыхать испорченный воздух; он может часто проветривать или — что еще лучше — он может работать на воздухе. Кроме того, он может ходить по комнате и читать или думать вслух. Известно, что у глухонемых вследствие того, что они не говорят, легкие бывают очень слабы: глухонемой с трудом погасит свечку на расстоянии нескольких сантиметров. Громкая речь — хорошая гимнастика для легких.

Следует также иметь в виду, что согнутое положение тела при чтении и при письме сильно стесняет движение дыхательных органов, и с течением времени привычка сидеть согнувшись может вредно отозваться на здоровье, поэтому необходимо приучать себя держаться во время работы как можно

прямее, чтобы грудь не была сжата и дыхательные органы могли бы действовать совершенно свободно.

Но одного этого все-таки недостаточно; необходимо, кроме того, от времени до времени прекращать работу, вставать из-за стола и проделывать то, что Лагранж называет «дыхательной гимнастикой». Это превосходное средство. Оно состоит в глубоких искусственных вдыханиях, причем надо делать движения вроде тех, какие мы делаем инстинктивно по утрам, когда потягиваемся после сна. Обе руки медленно приподнимаются и раздвигаются в стороны; в то же время надо стараться вдыхать воздух как можно глубже; затем при вдыхании руки опускаются. При поднятии рук полезно даже становиться на цыпочки, постепенно приподнимаясь на носках: это движение заставляет позвоночный столб выпрямляться, причем ребра описывают сегмент круга значительно больше того, какой описывается ими без этого движения. Таким образом, дыхательная гимнастика не только служит хорошим упражнением для сочленений ребер, но еще растягивает значительную часть легочных пузырьков, которые оставались сжатыми и куда кислород не мог проникать. Благодаря этому увеличивается поверхность соприкосновения крови с воздухом, чем и объясняется подмеченное Мареем явление, что после всякого такого упражнения, если оно продолжалось достаточно долго, ритм дыхания, даже в состоянии покоя, остается еще на некоторое время измененным. Надо заметить, что при этого рода гимнастике употребление гимнастических игр положительно воспрещается, ибо всякое усилие сопряжено с приостановкой дыхания.

Но все эти средства, при всей их полезности, только паллиативы (полумеры), и ни в каком случае не могут заменить физических упражнений в собственном смысле.

Ясно, что физическое упражнение само по себе не вносит ничего нового. Оно действует косвенным образом, улучшая общий механизм функций питания.

Как мы только что видели, для усиления деятельности дыхательных органов можно иногда пользоваться комнатной гимнастикой, но, чтобы заставить кровь быстрее обращаться и, следовательно, чаще проходить через легкие, комнатной гимнастики недостаточно. Кровообращение и дыхание — это, собственно говоря, одна и та же функция, только рассматриваемая с двух разных концов. Все, что влияет на кровообращение, влияет и на дыхание. Лавуазье, в своем отчете Академии наук за 1789-й год, указывает на тот факт, что натошак после физической работы, человек усваивает почти втрое больше кислорода, чем в состоянии покоя. Следовательно, первым последствием физического упражнения бывает то, что организмом поглощается значительное количество кислорода. Таким образом, проводя свое время в сравнительной неподвижности, студент обрекает себя на неполноценную жизнь, тогда как, если он ежедневно делает моцион на чистом воздухе, кровь его становится богаче, дыхание деятельнее, и он садится за работу свежий и бодрый. Мозг становится способным к более энергичному и

продолжительному усилию. Работа сердца уменьшается и вместе с тем становится более производительной, ибо когда мускулы бездействуют, то кровь застаивается в волосных сосудах, что сопровождается замедлением сгорания негодных частиц, тогда как, если мускулы находятся в движении, кровообращение мелких артерий усиливается; таким образом, волосные сосуды — это «периферическое сердце», деятельность которого обуславливается эластичностью тонких артерий, — облегчают работу центрального органа на всю сумму труда, который они берут на себя.

Но благотворное влияние физической работы этим еще не исчерпывается. Мускулы — это сгустители кислорода, те же дыхательные органы, как доказал Поль Бер: в мускулах происходит обмен вдыхаемого кислорода и выдыхаемой углекислоты. Этот обмен в высшей степени важен: чем он энергичнее, тем энергичнее идет и работа сгорания жировых веществ, получаемых из пищи; когда мускулы неподвижны, такого сгорания не происходит; жировые запасы отлагаются в разных частях тела, что неизбежно приводит к ожирению. Но отложение жира далеко не единственное вредное последствие физической лени: считается почти доказанным, что основная причина подагры, каменной болезни и несвежего дыхания коренится опять-таки в неполном сгорании пищевых материалов вследствие ослабленной деятельности дыхательных органов. И не надо забывать, что это периферическое дыхание — дыхание мускулов, имеющее столь первостепенную важность, длится не только во время работы; как мы уже видели, усиленная деятельность дыхательной функции мышц продолжается довольно долго и после работы.

Следует также принять во внимание, что для большинства молодых людей из обеспеченных семейств, для молодых людей, которые много едят, физические упражнения безусловно необходимы. Для такого молодого человека полезна даже усиленная физическая работа, ибо она ускоряет сгорание поглощаемых материалов. При усиленном питании и праздном образе жизни кровеносные сосуды переполняются хилусом. У сытых и праздных людей тошнота и дурной вкус во рту очень обыкновенное явление, особенно по утрам, когда вследствие полной неподвижности тела во время сна это переполнение еще усиливается. Желудок действует вяло, кровь в буквальном смысле «сгущается», т.е. обременяется несгоревшими материалами. Получается парадоксальное явление, очень часто наблюдаемое у таких людей, когда они просыпаются утром: я имею в виду чувство усталости, оцепенения, умственную лень, являющуюся последствием чрезмерного накопления запасов. Мы имеем неопровержимое доказательство, что упомянутое явление происходит именно по этой причине: стоит человеку решиться и сесть за работу, — и чувство усталости, которое по видимому должно бы расти, начинает уменьшаться по мере того как уменьшается, вследствие окисления, излишек запасов, скопившихся в крови.

Итак, физическая работа, ускоряя кровообращение и улучшая состав крови, способствует более быстрому усвоению питательных веществ и более быстрому удалению неусвояемых материалов.

Но, не говоря уже о необходимости физической работы для здоровья вообще, все мы знаем, как благотворно действует мотон на перистальтические движения желудка .

2. До сих пор мы рассматривали физические упражнения только со стороны их влияния на функции питания. И с точки зрения воспитания воли это самая существенная их сторона, так как воля и внимание находятся в тесной зависимости от здорового состояния организма. Но физические упражнения воздействуют на волю и более прямым путем. В движениях мышц выражаются первые робкие попытки проявления воли у ребенка. Нужно несколько лет упражнения, чтобы ребенок научился свободно управлять своими движениями, и за эти долгие годы учения дисциплинируются его воля и внимание. Кому не приходилось испытывать на себе, что в минуты апатии даже для взрослого человека самое ничтожное проявление воли, какое нужно, например, чтобы заставить себя сделать движение, подняться с места, выйти на улицу и т.п., — требует большого усилия и достается с трудом? Можно ли после этого сомневаться, что физическая деятельность или, точнее сказать, живые, отчетливые движения (ибо ходьба, которая очень скоро становится автоматической, не имеет никакого значения в этом смысле) представляют превосходное упражнение для воли и внимания? Это до такой степени верно, что невропатом, совершенно неспособным к усилию внимания, предписывается физическая работа. Усилие подразумевает волю, а

воля, как и все наши способности, развивается путем упражнения, т.е. повторения усилий. Кроме того, физический труд, как только он начинает утомлять, становится страданием, а заставить себя не поддаваться страданию, это высшая форма проявления воли.

Итак, физическое упражнение, не говоря уже о косвенном его влиянии, воздействует на волю и непосредственным образом и в этом смысле может быть названо начальной школой воли.

Нужно ли прибавлять, что оно влияет и на ум? Это влияние несомненно. Физическая лень оказывает губительное действие на умственные способности: впечатления почти не возобновляются, человеком овладевает скука и недовольство; ему ничего не хочется; он сидит в своей комнате угрюмый и апатичный. И единственная причина такого состояния, которое, наверное, каждый из нас испытал на себе, — физическая неподвижность, отсутствие внешних возбуждений и — как естественное последствие — вялость и неповоротливость мысли. Какой резкий контраст представляет это грустное состояние с тою ясностью мысли, с тою живостью и богатством впечатлений, какими наслаждается человек, когда он размышляет, гуляя на чистом воздухе по полям и лугам!

Итак, не подлежит никакому сомнению, что влияние физических упражнений на умственные способности очень велико.

3. Но, понимая все благотворное влияние физических упражнений, студент должен относиться критически к тем ложным воззрениям, которые

так распространены у нас в обществе по этому вопросу. У нас часто смешивают две совершенно разные вещи: здоровье и физическую силу. Крепкое здоровье обуславливается энергичной и правильной деятельностью дыхательных и пищеварительных органов. Быть здоровым — значит, с одной стороны, хорошо переваривать пищу, свободно дышать и иметь деятельное и правильное кровообращение, с другой — легко принаравливаться к переменам температуры. А все эти качества не имеют никакой причинной связи с физической силой. Ярмарочный силач может быть очень болезненным человеком, а какой-нибудь кабинетный ученый, не выдающийся своей физической силой, может обладать железным здоровьем. Атлетическая сила мускулов ни в каком случае не должна составлять цели наших стремлений. Атлетическая сила развивается только усиленным упражнением, а усиленное упражнение несомненно истощает, не говоря уже о том, что оно нарушает правильную деятельность дыхательных органов и вызывает сильные приливы крови к шее и голове. Усиленная физическая работа не может идти рука об руку с усиленным умственным трудом. Кроме того, утомление после физической работы предрасполагает к простуде, представляющей такое обыкновенное явление у крестьян и жителей гор.

Усиленные физические упражнения могут быть полезны только при усиленном питании, как средство израсходовать излишек запасов, скопившихся в крови. Но человек, занимающийся умственным трудом и усиленно напрягающий внимание, тратит на свою работу не меньше, если не больше материалов, чем крестьянин, который пашет землю. Таким образом, студента, действительно достойного этого имени, ни в каком случае нельзя приравнять к чиновнику, который просиживает целые дни за конторкой над своей механической, однообразной работой, так же мало упражняя свой ум, как и тело. Чем больше человек работает умом, тем меньше он нуждается в усиленных физических упражнениях, единственное назначение которых, как мы уже сказали, — уничтожать излишек накопившихся запасов.

У нас во Франции принято восхищаться английской системой воспитания, которая готовит из юношей атлетов. Мы поем панегирики этой системе, не отдавая себе хорошенько отчета, — за что, с тем полным отсутствием научных критических приемов, которым характеризуется общественное мнение наших времен. Мы млеем от восторга перед аристократическими английскими школами, где содержание пансионера обходится до 5000 франков в год и где воспитываются богатые сынки английских лордов, посещающие университеты в качестве дилетантов: мы не хотим понять, что то ничтожное меньшинство англичан не превышает численностью той горсточки людей, к которой сводится и у нас весь класс спортсменов. Курьезная вещь: мы, французы, восхищаемся преобладанием физического элемента в английских школах, т.е. именно тем, на что развитые англичане смотрят с грустью. Вильки Коллинз в своем предисловии к роману «Муж и жена», написанном в 1871 году, утверждает, что в английском обществе заметно развиваются грубость нравов и зверские инстинкты, и главная причина этого прискорбного факта — злоупотребление физическими упражнениями,

прибавляет автор. Матью Арнольд, которого никто не заподозрит в пристрастии, с завистью говорит о французской системе воспитания. Характерная черта варваров и филистеров, говорит он, это то, что варвары ценят только почести и вообще все, что удовлетворяет чувство тщеславия, и любят физические упражнения, всякого рода спорт и шумные удовольствия, а филистеры — лихорадочную суетливость торгового дела, наживу, комфорт и кумовство. И, по мнению Арнольда, английское воспитание приводит к увеличению числа филистеров и варваров. Он делает справедливое замечание, что «настоящие работники мысли не менее нравственны, чем настоящие атлеты»;

он мог бы прибавить, что греческие гимназии, где физические упражнения были в большой чести, опозорили себя противоестественным пороком, который был там в большом ходу. Да, наконец, каждый, кто занимается умственным трудом, может обратиться к своему личному опыту. Наличный запас человеческих сил нельзя разместить в две отдельные, наглухо перегороженные между собой клеточки с ярлычками — на одной: «физические», а на другой: «умственные силы». Весь излишек сил, который тратится на усиленную физическую работу, отнимается от умственного труда. Пусть идиоты, не способные связать двух мыслей, наедаются до отвала, наливаются крепкими напитками и затем тратят на утомительные манипуляции тот излишек запасов, который оставляет им работа пищеварения; пусть любят на здоровье своими атлетическими мускулами — в этом мы не видим беды. Но рекомендовать такую жизнь нашим будущим врачам, адвокатам, ученым, литераторам — это нонсенс. Великие победы человечества давно уже одерживаются не силой мускулов, а силой великих открытий, высокочеловечных чувств и плодотворных идей, и каждый здравомыслящий человек отдаст мускулатуру пятисот землекопов и ни на что не нужные мускулы всех спортсменов в придачу за могучий ум Пастера, Ампера или Малебранша. К тому же человек — сколько бы он себя ни тренировал — все равно не перегонит на бегу лошадь и даже собаку, и никакой ярмарочный Геркулес не поборет гориллу. Превосходство человека не в силе мускулов: лучшим доказательством этому может служить тот факт, что человек приручил самых сильных животных и держит в клетках тигров и львов на потеху детям, посещающим общественные сады.

Кроме того, все мы знаем, что значение физической силы с каждым днем уменьшается, ибо ум человеческий заменяет ее несравненно более могущественной силой машин. С другой стороны, известно, что чем дальше, тем больше умственный труд порабощает физический и что люди, вся сила которых в их мускулах, постепенно и сами спускаются до роли машин: эти люди — послушное орудие в руках тех, кто работает головой: предприниматель, не работая сам, распоряжается рабочими, а предпринимателями, в свою очередь, распоряжается инженер, который не имеет понятия о том, что такое мозоли на руках.

Итак, все это ратоборство за английскую систему воспитания, задающееся целью сделать из нашей молодежи, в ущерб ее умственному развитию, каких-

то атлетов, борцов без чувства и мысли, не имеет ни малейшего смысла. В основании его лежит грубое заблуждение, смешивающее здоровье с физической силой. В самом деле: можно ли колебаться, кому отдать предпочтение — человеку с сильным умом или какому-нибудь силачу-боксеру? Не будем же принимать за прогрессивное явление эти нелепые поползновения превратить нас в животных. Уж если брать крайности, то я лично всегда бы предпочел средневековые школы, давшие нам Св. Фому Аквинского, Монтеня и Рабле, этим школам будущего, которые будут давать нам победителей на шлюпочных гонках.

Да и, говоря откровенно, если бы этим петушиным боям не придавало ценности глупое тщеславие, вменяющего себе в заслугу такие качества, в которых его превосходят многие животные), то никто и не подумал бы подвергать себя той утомительной процедуре тренировки, какой требует, например, подготовка к шлюпочной гонке. Нет, не грубую рутинерку-Англию должны мы в этом случае брать за образец, а Швецию, где усиленные физические упражнения, как вредные во всех отношениях, совершенно изгнаны как из школ, так и из домашнего воспитания.

Цель шведской системы — воспитать здоровую, крепкую молодежь; там поняли, что злоупотребление физическими упражнениями приводит к истощению вернее, чем даже усиленный умственный труд.

Из вышеизложенного следует, что в выборе физических упражнений учащаяся молодежь должна руководствоваться одним безусловно обязательным правилом: физическое упражнение полезно только тогда, когда оно не расслабляет и даже не доводит до чрезмерного утомления.

4. Но если большинство так неправильно смотрит на значение физических упражнений, то не менее вредные заблуждения распространены в обществе и относительно умственного труда. Как мы уже видели, сидячая жизнь, во мнении большинства, является необходимым условием умственного труда. Слова: «головная работа», «умственный труд» вызывают в воображении фигуру сидячего человека, который или размышляет, подперев голову обеими руками, или пишет, прижавшись грудью к столу. Такое представление совершенно неверно. Правда, подготовительная, черновая работа, которой требует всякий умственный труд, может быть выполнена не иначе, как за письменным столом. Чтобы переводить, надо иметь под рукой грамматику и словарь; чтобы читать с полным вниманием, т.е. чтобы прочитанное оставалось в памяти, надо делать заметки, заносить на бумагу те мысли, которые возбуждает в нас чтение; но раз мы покончили с этим подготовительным трудом, вся остальная работа — работа памяти — не только может быть выполнена с успехом, но даже много выиграет, если мы будем делать ее под открытым небом, где-нибудь за городом или в общественном саду. Да и помимо работы памяти в узком смысле, и работа мысли (построение общего плана, распределение материалов) идет гораздо успешнее во время прогулки на чистом воздухе. Я, по крайней мере, могу сказать о себе, что все оригинальные идеи, на какие мне посчастливилось

напасть в течение моей жизни, родились у меня во время прогулок. Средиземное море, Альпы и лотарингские леса составляют основной фон всех моих новых концепций. И если правда то, что говорит в своем «Воспитании» Герберт Спенсер, которого, кажется, нельзя заподозрить в лени, что «не так важно приобретение познаний, как их организация», и что «для организации знаний необходимы два условия: время и самостоятельная работа мысли», то я утверждаю, что нигде эта работа организации не бывает так энергична, как на лоне природы.

Движение на чистом воздухе ускоряет кровообращение, организм получает больше кислорода, и, благодаря этому мысль приобретает такую энергию и самостоятельность, каких она редко достигает при сидячей работе. Милль говорит в своих «Мемуарах», что большую часть своей «Логике» он составил на ходу между своей квартирой и конторой ост-индской компании, — лучшее доказательство, что самая плодотворная умственная работа может быть в значительной мере выполняема под открытым небом, при полном сиянии солнца.

5. Теперь, когда мы покончили с вопросом о физической работе, нам остается сказать несколько слов об отдыхе. Отдых не есть праздность. Более того, праздность и отдых — вещи несовместимые. Отдых только тогда и возможен, когда ему предшествовал труд, вызвавший если не утомление, то по крайней мере потребность в восстановлении сил. Ленивый не знает, что такое сладость заслуженного отдыха, ибо если, как говорит Паскаль, холод хорош тем, что, озябнув, приятно согреться, то труд хорош тем, что, потрудившись, приятно отдохнуть. Отдых без труда, который делает его необходимым, — это праздность с ее томительной, невыносимой скукой. Мы можем сказать вместе с Рёскинол: завиден отдых верблюда, когда он лежит, запыхавшись после ходьбы, на своем гранитном ложе, но не отдых быка, пережевывающего в хлеву свою жвачку.

Самая совершенная форма отдыха — сон. Когда сон глубокий и покоен, восстановление сил бывает полное. Проснувшись после такого сна, человек испытывает в себе запас энергии для дневного труда. К несчастью, вопрос о сне — один из тех вопросов, в обсуждение которых вкралось особенно много ложных идей. Со свойственной им страстью к узкой регламентации и с авторитетностью, тем более смешной, что вся их наука есть не что иное, как сборник эмпирических законов, гигиенисты ограничивают время сна шестью, семью часами в сутки. Единственное в этом случае приложимое на практике общее правило — это не придерживаться никаких определенных правил относительно количества часов сна, а ложиться не слишком поздно и, проснувшись, сейчас же подыматься с постели.

Мы говорим: ложиться не слишком поздно, потому что работать до полуночи безусловно вредно. Известно, что около четырех часов вечера температура крови начинает понижаться, и к ночи накопление в крови неусвояемых материалов возрастает. Умственное усилие не может быть энергичным в такие часы, и если нам кажется, что по вечерам работает

лучше, чем днем, то я сильно подозреваю, не объясняется ли это тем, что притупившийся ум довольствуется посредственной работой, принимая ее за работу лучшего качества.

Кроме того, умственное напряжение в поздние часы дня возбуждает нервы и вызывает волнение, вследствие чего сон бывает недостаточно крепок и отдых неполон. Правда, это лихорадочное возбуждение разгоняет сон, и всегда можно искусственно привести себя в такое состояние, но это плохой расчет. Мозг насилуется и истощается на работу посредственного качества в ущерб работ завтрашнего дня. Вернейшим результатом такого бессмысленного нарушения законов природы является раздражительность, нервность. На вечер следует оставлять механическую работу: заметки карандашом на полях книги, отыскивание нужных цитат, выписки, справки и пр.

Работать ранним утром я тоже не считаю полезным. Во-первых, редко у кого хватает энергии подыматься изо дня в день с четырех часов утра. Тут уже нечего рассчитывать на силу воли, а надо искать какой-нибудь другой поддержки: зимой, например, когда после приятной теплоты постели приходится разом переходить в холодную атмосферу комнаты, воля бывает очень слаба. Живя в одном из центральных городов, я нанимал комнату у булочника и распорядился, чтобы рабочие, кончая работу, подымали меня с постели, несмотря на все мои протесты. Всю зиму я садился за свой письменный стол с пяти часов утра. Я втягивался в работу не сразу, но в конце концов все-таки втягивался: работа шла хорошо, приобретенные познания укладывались в памяти прочно, но весь остальной день меня клонило ко сну. Одним словом, долгим опытом я пришел к тому выводу, что приниматься за работу с рассветом, в смысле успешности дела, совсем не полезно и что гораздо лучше работать днем. Единственное преимущество такой системы состоит в том, что ни один день у вас не пропадает: каждый приносит свою долю труда, между тем как откладывая работу на свободные часы, слабохарактерный человек всегда рискует растратить свое время зря.

Но и растягивать время отдыха в постели тоже не следует, — не следует по двум причинам. Потребность сна у каждого бывает различна, но если человек изо дня в день спит больше, чем ему нужно, то вследствие излишка сна у него «сгущается кровь». Если вы переспали, у вас все утро испорчено: чувствуется недовольство, вялость, безотчетная тоска; вы легко зябнете, становитесь впечатлительным. Но это еще не худшие последствия злоупотребления сном. Можно принять за абсолютное правило, не имеющее исключений, что всякий молодой человек, который любит валяться в постели, который не встает, как только проснулся, неизбежно кончает онанизмом. Скажи мне, в котором часу ты встаешь, и я скажу тебе, порочен ли ты.

6. Отдых, помимо сна, принимает еще одну форму — форму отдохновения в собственном смысле. Работать без перерывов ни в каком случае не следует. Старое сравнение ума с луком, который, если его непрерывно натягивать, теряет всякую силу, — совершенно верно. Труд, — если за ним не следует его

естественная награда — отдых, становится каторгой. И даже для того, чтобы приобретенные познания могли быть хорошо усвоены, чтобы они были плодотворны, необходимо делать перерывы между различными родами труда. Отдых есть чистая прибыль даже в отношении количества работы. В самом деле, никакой умственный труд невозможен без усиленной деятельности нервных центров. И обратно: усиленная деятельность нервных центров — даже если она не сопровождается сознанием — очень часто предупреждает работу мысли. В наше время открытие соотношения идей и «нервных субстратов», — открытие, столь обильное результатами, — кажется, уже не нуждается в доказательствах. Но с прекращением работы мысли деятельность нервных центров еще не прекращается: бессознательная работа продолжается, и в результате воспринятые представления и идеи развиваются и упрочиваются. Вот почему, кончив одну работу, никогда не следует сейчас же приниматься за другую, иначе самопроизвольная деятельность, совершающаяся в бессознательных областях нашего ума, разом прекращается, не оказав своего полезного действия. С другой стороны, при слишком быстром переходе от одной работы к другой нашему сознанию приходится, так сказать, остановить движение уже установившихся нервных токов и дать им другое направление, а это требует времени и известной затраты сил; все равно, как если бы мы захотели изменить направление хода уже пущенного поезда, — нам пришлось бы, во-первых, остановить его, затем дать ему задний ход и наконец пустить его по другим рельсам. Гораздо лучше дать себе отдых в виде легкого моциона, например, и дожидаться, чтобы усиленное кровообращение мозга пришло в свою норму и приобретенная инерция истощилась естественным путем. За мою многолетнюю учительскую практику мне часто приходилось иметь дело с воспитанниками, которые в течение года следили за курсом с большим трудом, плохо понимали смысл и связь преподаваемого и которые, после пасхальных каникул, т.е. после двухнедельного абсолютного умственного отдыха, возвращались перерожденными. За этот срок мысль ребенка успевала окрепнуть, улечься, работа распределения материалов заканчивалась, и они вполне овладевали предметом. А не будь этого благодетельного перерыва в приобретении новых познаний, быть может, ничего подобного и не произошло бы.

Мало, слишком мало отстаивали необходимость отдыха после труда. Тёпфер совершенно прав, когда он говорит: «Надо работать, мой друг, но надо и отдыхать, бывать в обществе, дышать воздухом, гулять, ибо только таким образом мы перевариваем приобретенные познания, наблюдаем и связываем науку с жизнью, а не с одной только памятью».

Но мы не должны смотреть на отдых, как на цель. Отдых есть и должен быть только средством для восстановления нашей энергии.

Но отдых отдыху рознь: есть много способов отдыхать, и для того, кто хочет укрепить свою волю, выбор развлечений — очень важная вещь. Чтобы развлечение было полезно, оно должно отвечать следующим условиям: оно должно способствовать ускорению кровообращения и дыхания, а главное —

возбуждать деятельность мускулов грудной полости, позвоночного столба и системы желудочных мышц и давать отдых глазам.

Раз мы признали, что все эти условия необходимы, то ясно, что карты, шахматные и вообще все игры в закрытых помещениях должны быть безусловно вычеркнуты из списка развлечений, как требующие сидячего положения и, очень часто, продолжительного пребывания в нездоровой, пропитанной табачным дымом и редко возобновляемой атмосфере.

Напротив того, ходьба на чистом воздухе, загородные прогулки должны занимать собой значительную часть программы наших развлечений. К сожалению, ходьба оставляет в бездействии как мускулы позвоночного столба, которые отчасти влияют на дыхание, так и всю систему желудочных мышц, и, таким образом, не отвечает всем нужным условиям. Но зато при ходьбе на открытом воздухе по лесам и лугам легкие вдоволь набираются воздуха и зрение приятно отдыхает. Зимой — катанье на коньках, самое живое из гигиенических удовольствий и одно из самых полных в смысле разнообразия движений, и летом плавание, представляющее самую лучшую гимнастику для дыхательных органов, — могут служить превосходным отдыхом для человека, занимающегося умственным трудом. К плаванию можно присоединить еще греблю, катание по реке, дающие возможность любоваться красивыми видами, и садоводство, требующее очень разнообразных движений.

В дождливые дни, когда приходится сидеть в комнатах, прекрасным развлечением может служить бильярд или столярничанье. В саду можно играть в кегли, в мяч, в жедепом и во все вообще старинные французские игры, которых по-настоящему не должны бы вытеснять ни лоунь-теннис, ни крокет. В каникулярное время ничего не может быть лучше веселых экскурсий с сумкой через плечо по Альпам, Пиренеям, Вогезам или по Бретани. В рабочие месяцы (потому что во время каникул это не важно) необходимо следить, чтобы физическое упражнение, хотя бы и вызывая испарину, никогда не приводило к чрезмерной усталости. Доводить себя до изнеможения — совершенно лишнее, ибо чрезмерная физическая усталость в соединении с умственной работой только истощает.

Но помимо той непосредственной пользы, какую приносят организму рациональные развлечения, очень важную роль в гигиеническом отношении играет и то ощущение приятного возбуждения, каким сопровождается всякая здоровая физическая работа. Радость — лучшее укрепляющее и физическое удовольствие — это, так сказать, торжествующая песнь уравновешенного организма. А когда к этому животному удовольствию присоединяются еще высокие радости умственного труда, не только не исключаящие других радостей, но придающие им особенный вкус и аромат, — тогда счастье становится полным. Я убежден, что молодой человек, который настолько владеет собой, чтобы с умом направить свою жизнь целесообразным образом, всегда скажет, что на свете стоит жить. И каждый из нас может примкнуть к этой кучке избранных, если сумеет этого захотеть.

7. Итак, сила воли, — сила воли, действующая непрерывно, — подразумевает возможность продолжительного усилия. А если нет здоровья, продолжительное усилие невозможно. Следовательно, здоровье есть необходимое условие нравственной энергии. «Сюда входят только геометры», говорил Платон; сюда входят только те, могли бы мы сказать, кто следует правилам гигиены в том, что в них есть бесспорно доказанного. Насколько верно, что воля слагается из маленьких, но непрерывно возобновляемых усилий, настолько же верно и то, что в своих основаниях она слагается из мелких непрерывных забот относительно гигиены питания, дыхания и кровообращения. Деятельность воли предполагает отдых и целесообразные физические упражнения. Нам пришлось по этому поводу опровергать ходячие мнения, которым следует современное общество в своем пошлом подражании Англии; мы даже сочли нелишним привести краткий обзор существующих развлечений, указав, какие из них, по нашему мнению, вредны и какие полезны, и выяснив попутно, какие условия нужны для того, чтобы умственный труд был производителен, ибо мы глубоко убеждены, что сила ума, чувства и воли в значительной мере зависит от общего состояния организма. Если душа, как говорит Боссюэ, — владычица тела, которое она оживляет, то она недолго остается владычицей в ослабевшем, разрушающемся теле. Конечно, геройское усилие воли и при таких условиях возможно, но это усилие останется одиноким, ибо за ним неизбежно наступит истощение. А в жизни, какой ее сделала цивилизация, случаи для совершения геройских подвигов представляются редко, — так редко, что не могут идти в счет, и не для них мы должны готовить себя, а для мелкой, постоянной борьбы, требующей непрерывного возобновления усилий изо дня в день, из часа в час. И когда пробьет час для геройского подвига, то в результате окажется, что воля, закалившаяся в этой мелкой борьбе, совершит его легче, чем воля героя минутного порыва. Но для постоянного возобновления усилий нужны последовательность, настойчивость, постоянство; а постоянство усилия воли подразумевает постоянное развитие сил. Мало у нас думают до какой степени верно знаменитое изречение древних: *mens sana in corpore sano* (в здоровом теле — здоровый дух). Будем же беречь свое здоровье, чтобы воля наша всегда располагала запасом физической энергии, без которой всякое усилие — к какому бы разряду деятельности оно ни относилось — останется немоощным и бесплодным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Общий взгляд

Первая часть нашего трактата закончена.

Свою аргументацию мы начали с того, что выяснили, с какими врагами нам приходится считаться в благородной и плодотворной борьбе против низших сил нашей природы. Мы поняли, что если в этой борьбе за самоосвобождение наши страсти играют такую важную роль, то это только потому, что они являются союзниками главного нашего врага — лени, силы инерции, которая постоянно тянет человека вниз, возвращает его к тому первобытному, животному состоянию, из которого он вышел с таким трудом, веками усилий. Мы поняли, что не лихорадочные приступы минутной энергии надо разуметь под тем, что зовется обыкновенно властью над собой; мы поняли, что высшая энергия — энергия непрерывная, длящаяся месяцы и годы, и что пробный камень силы воли — это постоянство усилия.

Затем мы должны были очистить свой путь от двух философских теорий, на наш взгляд одинаково безотрадных.

Первая из этих теорий утверждает, что характер не может быть изменен, что характер предопределяется свыше, родился с человеком, что в деле нравственного самоосвобождения мы бессильны. Эта теория не имеет ни малейшего смысла и показывает такую закоренелую привычку думать словами и такое незнание самых элементарных факторов психологии, что оставалось бы только удивляться, как она могла найти последователей в лице очень многих серьезных мыслителей, если бы мы не знали, как непреодолимо бывает влияние предвзятых теорий, ослепляющих ум и мешающих ему видеть самые очевидные факты.

Другая теория — теория свободы воли — ничуть не менее наивна и также вредна, ибо на перевоспитание характера она смотрит как на дело легко достижимое, не требующее даже времени для своего выполнения, и несомненно, что своим влиянием эта теория заставила моралистов уклониться с пути исследований в области психологии. А между тем только глубокое знание законов человеческой природы может дать указания, которые помогут нам перевоспитать наш характер.

Освободившись от этих теорий, мы приступили к исследованию нашего предмета с психологической его стороны. Это исследование показало нам, во-первых, что наша власть над идеями очень велика, но что значение идей, в смысле прямой поддержки, которую они могут нам оказать, весьма незначительно, и, во-вторых, что мы почти не можем воздействовать на наши чувства прямым путем, но зато чувство над нами всецело. Тем не менее, оказывается, что при времени и при умении пользоваться нашими психическими ресурсами, мы можем преодолеть все эти затруднения и, подвигаясь к цели окольными путями, обеспечить за собой победу там, где поражение казалось несомненным. В главах о «размышлении» и о «поступке» мы терпеливо разобрали все те средства, которые приводят нас к

нравственной свободе, и, хорошо понимая, какая тесная зависимость существует между нашей физической и нравственной природой, рассмотрели в особой главе о гигиене физиологические условия, благоприятствующие укреплению воли.

Итак, теоретическая часть нашей книги закончена. Нам остается теперь перейти к частностям, т.е. разобрать те великие общие законы, которые до сих пор мы рассматривали по существу, в их приложении к жизни учащейся молодежи. Другими словами, нам остается исследовать в подробностях, какие опасности могут грозить нравственной свободе студента и какую поддержку для борьбы с этими опасностями он может найти в себе самом и в окружающей среде.

Эту вторую, практическую часть нашего трактата, мы делим на два отдела: IV и V.

Отдел IV будет разбит на два подразделения: в первом мы будем говорить о врагах, с которыми приходится бороться в деле самовоспитания (*pars destruens*); во втором (*pars construens*) выскажем несколько мыслей, которые, как мы надеемся, пробудят в душе наших юных читателей живое стремление к энергичной жизни человека труда, подчиняющейся только велениям воли.

Отдел V посвящен вопросу о внешних союзниках в деле самовоспитания, которых студент может найти в окружающей его общественной среде.

II

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV

ЧАСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Враги, с которыми надо бороться: сентиментальность и чувственность

1. Мы уже видели, что в деле самовоспитания нам приходится считаться с двумя главными врагами: с чувственностью и ленью. Лень есть распушенность, т.е. такое хроническое состояние души, когда человек предоставляет себя на произвол внешних влияний, не делая над собой никаких усилий; вследствие этого лень представляет очень удобную «среду» для развития всех порочных инстинктов, и в этом смысле можно сказать, что всякая страсть обуславливается ленью. Нашей мысли недостает только небольшого толчка, чтобы мы решились признать вместе со стоиками, что всякая страсть есть распушенность воли. В самом деле, подчиниться влиянию страсти — не значит ли это перестать быть господином своего «я»? Страсть — это торжество нашей животной природы, слепой порыв наследственных инстинктов, который затемняет, угнетает — более того: поработывает ум. Страсть убивает в нас человечность, принижает все то, чем мы должны гордиться и в чем весь смысл нашего существования: человек опять становится животным на все то время, пока в душе его бушует страсть.

Но, несмотря на это, я все-таки скажу, что, благодаря своей скоротечности, страсть менее опасна, чем та роковая темная сила, которая действует ежеминутно и которая, как мы уже сказали, есть то же для человеческой природы, что тяжесть для камня. И как никакое здание не может быть прочно, если архитектор не принял в расчет законов тяжести и не положил их в основание своих вычислений, заставив их таким образом способствовать устойчивости стен, так и дело нашего нравственного возрождения никогда не будет прочно, если мы не примем в расчет враждебных нам сил и не прекратим их наступательных действий, противопоставив им могущественный союз других, благоприятных нашей цели, сил, и даже если мы не заставим некоторых из наших врагов бороться за нас. Но как узнать, так сказать, по первому впечатлению, какие из этих сил нам враждебны и какие благоприятны? Ничего не может быть проще. Всякая психическая сила враждебна воспитанию воли, если она действует в одном направлении с нашей ленью, и благоприятна ему, если она идет с ней вразрез.

Таким образом предстоящая нам задача совершенно ясна. Прежде всего мы должны стараться ослабить или, если возможно, уничтожить влияния,

клоняющиеся к умерщвлению нашей энергии, и усилить все то, что может ее оживить.

Причины, ослабляющие волю (я разумею волю, как силу, действующую непрерывно), очень многочисленны, и первое место между ними занимает та расплывчатая сентиментальность, которая представляет столь обыкновенное явление у молодых людей и которая нечувствительно приучает воображение убаюкивать себя сладострастными мечтами, так часто приводящими к порочным привычкам. Затем следует: вредное влияние товарищей, махнувших рукой на всякие попытки к самосовершенствованию, бульварная и ресторанная жизнь, скука, уныние и опасные софизмы, которые так часто повторяются, что влияют даже на просвещенных людей и в конце концов приобретают авторитет и очевидность аксиом.

2. Итак, наше исследование психических явлений, враждебных воспитанию воли, мы начинаем с исследования расплывчатой сентиментальности, бесцельных порываний.

В коллеже, где мальчика-подростка поддерживает домашняя дисциплина, где почти все его время занято обязательными уроками, где его энергию подтягивают соревнование, постоянная мысль об экзаменах, и где он должен волей-неволей вести умеренную, строго регулярную жизнь, ему некогда подолгу предаваться мечтам, по крайней мере в последнее время, когда сократили число учебных и увеличили число рекреационных часов. Теперь он уже не может, как это, к сожалению, делалось прежде во всех закрытых заведениях, проводить значительную часть времени за вечерними уроками в том, чтобы мечтать о любви и вызывать в своем воображении страстные сцены. Но как только, по выходе из коллежа, юноша очутился на своей воле, один в большом городе, без родных, без надзора, без обязательной для каждого дня и даже без строго определенной работы, — число часов абсолютной праздности, когда воля молчит, ум дремлет и разыгрывается фантазия, неизбежно для него возрастает. К несчастью.

Именно в этот период в организме окончательно завершается тот физиологический переворот, который уже давно начался. Рост почти прекращается: огромная работа классификации предметов и явлений внешнего мира закончена; освобожденные силы ищут исхода и становятся источником неясных волнений; окончательное пробуждение полового инстинкта придает мысли своеобразную окраску, которой раньше она не имела. А тут еще на подмогу выступает воображение: юноша страдает, и страдания его вполне реальны, хотя они и опоэтизированы литературой: это то самое состояние, которое так живо рисует Бомарше в своем Шерюбене. Про человека в этом возрасте нельзя сказать, что он любит ту или другую женщину. Он еще просто «любит любовь». В нем живет такая могучая способность к идеализации, его переполняет такая кипучая сила жизни, такая потребность дать внешний исход своим великодушным порывам пожертвовать собой, отдать всего себя какому-нибудь делу, что эту эпоху человеческой жизни можно назвать благословенной порой.

Но в то же время это критический, решительный момент: переполняющая нас энергия должна израсходоваться. Не нашла она исхода в честном полезном труде, и мы рискуем, что она обратится на низкие, постыдные удовольствия. Это борьба Геркулеса между добродетелью и пороком; на чем бы ни остановился наш выбор, он будет сделан с беззаветным увлечением. Для большинства молодых людей выбор не может не быть сомнительным. Они идут туда, куда их влекут отвращение к труду, печальные примеры, отсутствие здоровых развлечений, слабость воли и уже загрязненное, испорченное воображение. О таких молодых людях нельзя даже сказать, что они падают в борьбе, ибо они ни на одну секунду не пытаются бороться. К тому же нельзя не согласиться, что переживать в воображении восхитительные романы, устраивать будущее по своему произволу несравненно интереснее, чем работать, и требует меньше усилий. Естественно поэтому, что молодой человек, студент, от которого всегда зависит отложить свою работу на завтра, — естественно, что, раз наука его отталкивает, он предпочитает уходить в свои мечты и убивает таким образом свое лучшее время. Мало ли молодых людей, которые переживают такие воображаемые романы день за днем, неделю за неделей, варьируя тему на тысячу ладов, воображая свою героиню во всевозможных ситуациях, обращаясь к ней вслух с целыми тирадами и никогда не находя их достаточно нежными и страстными. Как бледны и бесцветны романы наших романистов в сравнении с теми романами, которые мы сочиняем сами на восемнадцатом году! Ни в ситуациях, ни в характерах их нет того неисчерпаемого избытка любви, того великодушия, того полного бескорыстия, которые составляют достояние этих счастливых годов. Только позднее, когда остывшее воображение обратится к более серьезным предметам, мы начинаем требовать от романиста, чтобы он заменил нам поэта, каким мы были и перестали быть. Одно только жаль, что все эти прекрасные романы создаются за счет рабочих часов, причем молодой человек приобретает обыкновенно такую непобедимую привычку мечтать, что всякий серьезный труд становится невозможным. Одно прочитанное слово, намек, — и мы унеслись за тридевять земель от нашей работы, и не опомнились, как пролетел целый час. А рядом такой резкий контраст: одинокая, замкнутая жизнь студента, работа — подчас очень скучная: все это так пресно и безвкусно, что пропадает последняя бодрость. Так тяжело возвращаться из волшебного царства фантазии к прозе действительности!.. Одним словом, с какой стороны мы ни взглянем, сентиментальность, расплывчатая мечтательность оказывается безусловно вредна. Сколько хороших часов, которые мы могли бы отдать полезному труду, уходят задаром на бесплодные, пустые мечты.

Эта бессмысленная растрата ума и чувства происходит частью от поверхностных причин, которые сводятся к разнузданности воображения, но, к сожалению, она имеет еще и другие, глубокие причины.

Первая из этих причин — физиологический переворот, о котором мы только что говорили: наступление возмужалости. Вторая —слишком большой промежуток времени, отделяющий это наступление физиологической

зрелости от того момента, когда человек приобретает гражданскую правоспособность ко вступлению в брак. Благополучно покончив с курсом среднего образования, молодой человек должен поработать лет восемь или десять, прежде чем он создаст себе такое положение, которое позволит ему жениться сообразно требованиям света. У нас принято, что молодая девушка должна «купить» себе мужа, и редки молодые люди, которые отваживались бы жениться на бесприданницах, полагаясь на свою молодость и на то, что у них хватит энергии пробыть к известному достатку. Они предпочитают ждать, и зачастую этот расчет оказывается очень плохим, ибо, по несчастью, вместе с приданым приобретается и жена: эта жена может быть слабого здоровья, может иметь страсть к мотовству, может наконец оказаться неспособной к домашнему труду, а кто же не знает, как вредно отзывается праздность жены на супружеских отношениях и вообще на семье?

При существовании в обществе таких взглядов, редкий молодой человек может жениться до тридцати лет, и на поверку оказывается, что десять лучших лет жизни проходит или в борьбе с физиологической потребностью (а эта борьба всегда тяжела), или в разврате. На свете мало людей, которые могли бы долго бороться, и вот мы видим, что большинство учащейся молодежи разматывает свою молодость на глупую, бессознательную и безнравственную жизнь.

Страшно подумать, сколько вреда приносят поздние браки! Скольких радостей лишает себя человек! Сколько здоровья, энергии растрачивается попусту, бессмысленно, безрассудно! Ибо если брак имеет свои неудобства, если он налагает тяжелые обязанности, то ранний брак налагает их по крайней мере в том возрасте, когда мы бодро переносим всякие тяготы. Когда человек работает, чтобы жить самому и давать возможность жить своим близким, то во всяком случае его жизнь нельзя назвать вполне эгоистичной: такая жизнь служит для молодого человека здоровой, укрепляющей дисциплиной, — дисциплиной труда для других. Притом, если женитьба на бедной девушке имеет свои неудобства, то она имеет за собой и большие нравственные преимущества. Муж и жена чувствуют себя вполне солидарными. Жена заботится, чтобы ничто не мешало мужу спокойно работать, внимательно следит за его здоровьем: в этом главный интерес ее жизни. Такая жена не свалит домашнее хозяйство на какую-нибудь пьяницу кухарку: приготовление обеда для нее священнодействие, механизм инструмента, который она до тонкости изучила и на котором она играет артистически, понимая, какое огромное значение имеет это для здоровья того, кто для нее — все. Муж, зная, что о нем есть кому позаботиться, чувствует себя совершенно спокойно; нет у него тревог и за семью: правда, он может умереть, но на этот случай можно застраховать свою жизнь. Уходя, он оставляет дома рассудительную и добрую жену, здоровую телом и духом; он знает, что, вернувшись, найдет в своем доме верную любовь и утешение в тяжелую минуту; он знает, что там встретят его чистота, порядок, тот праздничный вид, какой всегда имеют счастливые жилища. Для человека не может быть более бодрящего чувства, как сознание близости к другому

человеку, с которым он сводится и мыслью, и душой, с которым ему не страшны ни горе, ни болезнь. С каждым годом привязанность растет, а с ней растет и счастье; благодаря трудолюбию мужа и бережливости жены является возможность улучшить домашнюю обстановку: каждая мелочь, которую покупают, каждая новая мебель есть результат отречения от всех удовольствий, от всех радостей, которые не могут быть общими; все это, не говоря уже о детях, создает между супругами крепкую связь. В супружествах, которые начали свое поприще скромно, достаток с годами растет, заботы уменьшаются, и старость всегда бывает счастливая, ибо благосостояние и покойная жизнь доставляют наслаждение только тогда, когда они заработаны долгим трудом. Недаром сказал поэт:

...L'homme ne jouit longtemps et sans remords
Que des biens cherement payes
par ses efforts...*

Итак, никогда не следует бояться жениться молодым, а так как жениться молодым можно, только отказавшись от мысли о приданом, то ранние браки имеют еще то преимущество, что жену выбирают за ее достоинства, ради нее самой. К тому же нельзя не согласиться, что молодые девушки с приданым, на которых наши студенты могли бы жениться только очень поздно, весьма мало пригодны для брака. Тепличное воспитание, которое они получают, отсутствие физических упражнений, недостаток свежего воздуха, злоупотребление корсетом, — все это зачастую делает их совершенно неспособными нести тяготы беременности; у очень немногих хватает мужества или здоровья самим выкармливать детей. Все врачи единогласно признают тот прискорбный факт, что маточные болезни в наше время встречаются все чаще и чаще.

Но есть и другие, более серьезные невыгоды поздней женитьбы на богатой. Абсолютная праздность, в которой проводят свое время богатые девушки по выходе из пансиона, обильное питание, полное отсутствие физического утомления, возбуждающая атмосфера балов, на которые их вывозят, опера, сентиментальные романы, которые им позволяют читать и которые они находят в журналах для девиц, — все это делает то, что воображение их не может не быть извращенным. Мы и не подозреваем, как ужасны бывают тайные страдания девушки, которая ведет праздную жизнь.

Но это еще не все. Оторванные от жизни воспитанием, зная только показную сторону светских отношений, не будучи поставлены в необходимость заботиться о завтрашнем дне, такие девушки не могут видеть жизнь в ее истинном свете и составляют обо всем до такой степени превратные понятия, что при первом столкновении с действительностью разочарование является неизбежным. Во всяком случае несомненно, что у богатой девушки, говоря вообще, всегда меньше здравого смысла, чем у девушки из бедной, трудящейся семьи.

Но зато, могут нам возразить, о богатых девушках можно по крайней мере сказать, что они имеют на своей стороне преимущество образования. Чистейшая иллюзия. Солидного образования вы у них не найдете. Их память

может удерживать факты, но не ждите от них усилия самостоятельной мысли. Редкая из них проявит «индивидуальность», и г-н Манюэль, генеральный инспектор, состоящий уже много лет председателем экзаменационной комиссии в женских учебных заведениях, констатирует этот факт чуть ли не в каждом из своих годовых отчетов. Притом, как бы ни была образована женщина, ее муж — особенно, если он человек мыслящий, развитой, — всегда окажется в этом отношении настолько выше ее, что в его глазах она будет лишь посредственной ученицей. Но даже не обладая большим образованием, женщина наблюдательная, с ясным умом и здравыми понятиями, может быть драгоценной помощницей для талантливого человека. Такой человек живет своей особой жизнью: его интересы выше интересов толпы, и расстояние, отделяющее его от обыкновенных людей, все больше и больше увеличивается. Он весь уходит в свою погоню за идеями и кончает тем, что теряет всякую связь с окружающей средой. Но у него есть жена, вся жизнь которой проходит в этой среде: она может делать очень важные наблюдения и отмечать факты, которых муж, в своем презрении к мелочам, может и не заметить. Жена служит связующим звеном между внешним миром и мужем: выуживая рыбку за рыбкой, она по временам дарит ему целый улов драгоценнейших наблюдений, которые он обобщает. Стюарт Милль постоянно вспоминает о мистрис Тэйлор и говорит о ней в самых лестных выражениях, тогда как все его друзья, и в особенности Бэнь, утверждают, что эта была женщина самого заурядного ума. Они не понимают, что для такого отвлеченного мыслителя, как Милль, мистрис Тэйлор — если она была наблюдательна и обладала тонким чутьем — должна была быть драгоценной помощницей, и ничего нет удивительного в том, что, как утверждает Милль, она доставила ему материал для его лучших экономических теорий. И вот мы видим, что в своей «Политической экономии» Милль восхищается необыкновенной практичностью женского ума, гениальной способностью женщин подмечать детали. В этом сказалось влияние мистрис Тэйлор. Вот почему для мыслителя жена, хоты бы и не одаренная возвышенным умом, но обладающая тонкой наблюдательностью, полезнее и дороже целого гарема синих чулков*.

Но как бы рано ни женился молодой человек (я имею в виду людей умственного труда), во всяком случае он не может жениться тотчас по выходе из лицея или гимназии; следовательно, у него все-таки остается несколько лет, в течение которых ему приходится бороться с физиологической потребностью. Это борьба — дело тактики: если мы взялись за нее неумело, мы неизбежно будем разбиты.

3. В книге, которая предназначается главным образом для молодых людей от восемнадцати до двадцатипятилетнего возраста, мы не должны бояться затронуть вопрос о чувственности, — вопрос, представляющий такую первостепенную важность. Умалчивать о том, от чего страдали самые высокие гении человечества, было бы чистейшим лицемерием. У Канта есть об этом предмете прекрасная страница, которая во французском переводе заменена несколькими строками точек. Эти точки много говорят о состоянии нашего

общественного мнения по этому вопросу, и зная, какими грубыми шуточками обмениваются после обеда в курильных так называемые «благовоспитанные» мужчины, надо быть очень наивным, чтобы принимать за чистую монету эту лицемерную стыдливость и не решаться высказаться прямо о таких вещах, говорить о которых есть долг всякого честного человека. Что сентиментальная чувствительность, развивающаяся с наступлением половой зрелости, очень скоро перерождается в чувственность, — это слишком верно. Неясные образы получают определенность, смутные желания становятся поступками, и молодой человек или предается позорным привычкам, или же — как это делает меньшинство молодежи посмелее или побогаче — начинает посещать женщин, торгующих собой.

Мы так привыкли преувеличивать последствия такого порядка вещей, что самые приукрашенные в этом смысле картины никого не ужасают. Тем не менее остается бесспорным, что излишества чувственности серьезно отражаются на здоровье; несомненные их последствия — спинная сухотка, ослабление мышц, чувство тяжести в спинном хребте, — симптомы, которые обыкновенно скрывают и которыми пренебрегают в безрассудном ослеплении животным инстинктом. Молодой человек, который грешит такими излишествами, принимает старообразный вид: живые краски бледнеют, свежесть пропадает, глаза тускнеют и становятся томными; под глазами появляются синеватые круги. Лицо носит явные следы истощения. Все в человеке обличает утомление, и утомление то, — если оно повторяется часто, — не замедлит подорвать жизнь в самых источниках: все эти признаки — предвестники всевозможных гастритов, невралгий, гипертрофии сердца, ослабления зрения, короче — всех недугов, которые, начиная с тридцати лет, отравляют существование неблагоприятных людей.

Но роковое влияние чувственности сказывается не только на здоровье; оно отражается и на умственных способностях. Память притупляется, ум как бы цепенеет, утрачивает всю свою гибкость, энергию, становится неподвижным. Внимание ослабляется и теряет способность останавливаться на чем-либо подолгу. Дни проходят в ленивой апатии, в вялом равнодушии ко всему. Труд не приносит живого, бодрящего наслаждения и, лишенный своей естественной награды, становится мукой.

Наконец, благодаря привычке к грубым и острым физическим наслаждениям, тихие, но прочные духовные радости утрачивают всю свою прелесть. А так как наслаждение, которое дает нам удовлетворенная чувственность, всегда скоротечно и не оставляет по себе ничего, кроме отвращения и усталости, то и характер естественно портится: человек становится мрачным, угрюмым и тоскует той удручающей тоской, которая заставляет его искать забвения в грубых, шумных, бессмысленных удовольствиях. Это какой-то безвыходный, заколдованный путь.

Надо ли сгущать краски этой картины (к слову сказать, ничуть не приукрашенной)? Надо ли говорить о социальных последствиях разврата, — последствиях, столь печальных для женщины в таком полуварварском

обществе, как наше, где хлопочут лишь о том, чтобы обеспечить полную безнаказанность молодым людям достаточных классов, снимая с них всякую ответственность за разврат?

Развитие чувственности зависит от многих причин. Мы уже знаем, что одна из этих причин органическая. Как потребность желудка принимает в сознании форму страдания, называемого голодом, как потребность дыхательных органов вызывает удушье, лишь только прекращается приток воздуха к легким, так и половая потребность, ощущаемая при накоплении в половых органах семенной жидкости, — потребность животная, настоящая — если она не получила удовлетворения — нарушает правильный ход умственной работы каким-то таинственным, еще не исследованным путем.

Но разница в том, что в последнем случае страдание вызывается не истощением, как в случае голода, а переполнением. Избыток сил требует исхода. Но в физиологии, как в приходе-расходных сметах, допускается перевод фондов, и не израсходованную сумму можно всегда вывести в расход на другую статью. Все дело только в том, чтобы установить равновесие, и в чем бы ни заключалась причина чрезмерного накопления сил, утомления какого бы ни было рода, — поглотить и уничтожить избыток

Таким образом, если бы приходилось считаться только с нормальной половой потребностью, борьба не представляла бы больших затруднений. Но беда наша в том, что эта нормальная потребность получает чрезмерное развитие вследствие многих причин, превращаясь в иных случаях в необузданный, неистовый животный порыв, приводящий к безумным поступкам и даже к преступлению.

Первая причина чрезмерного развития чувственности коренится в нашем режиме питания. Как было указано выше, почти все мы едим слишком много и по количеству, и по качеству пищи. Наша пища слишком питательна: мы едим, как заводские жеребцы, говорит Толстой. Взгляните вы на наших студентов, когда они выходят из-за стола — красные, с налитыми кровью глазами, с громким говором, с шумным смехом, и скажите, возможно ли, чтобы они были в состоянии работать головой в течение тех часов, пока будет перевариваться их обед, и не будет ли для них весь этот промежуток времени сплошным торжеством их животной природы?*

К неправильному режиму питания, как одной из причин возбуждения чувственности, присоединяются и другие причины: слишком продолжительное пребывание в сидячем положении — на лекциях в залах аудитории, где часто бывает очень жарко, или в тяжелой, удушливой атмосфере ресторанов в зимнее время; слишком продолжительный сон — вернейшая из причин, возбуждающих чувственность. Мы говорим: вернейшая из причин, ибо в том полудремотном состоянии, какое бывает по утрам после сна, воля как бы расплывается, и зверь царит в нас безраздельно. Даже ум дремлет, и если многим кажется, что мысль особенно хорошо работает в эти часы приятного усыпления, то они жестоко заблуждаются: острие ума притуплено, самые банальные мысли кажутся оригинальными, и

если мы попробуем записать все те прекрасные идеи, которые мелькают у нас по утрам, то ничего не выйдет, и мы убедимся, что то, что казалось нам самостоятельной работой ума, было просто автоматизмом мысли весьма посредственного достоинства.

Да, автоматизм мысли — иначе этого нельзя назвать, и автоматизм в человеке — это вырвавшийся на волю зверь с звериными инстинктами и желаниями. А чувственное наслаждение — конечная цель звериных желаний, и стремиться к нему — врожденное свойство животной природы. Таким образом (как мы уже говорили) можно принять за правило, не имеющее исключений, что всякий молодой человек, который, проснувшись, остается в постели час или больше, фатально порочен.

Все эти физические причины подкрепляются еще новой причиной другого порядка, а именно влиянием среды. Ясно, что постоянное общение с неразвитыми, бесхарактерными и безнравственными товарищами не может не оказывать вредного действия. И — как это ни грустно — нельзя не сознаться, что между студентами во всех станах света много отъявленных негодяев. В студенческих группах обыкновенно сильно развит дух глупого соревнования: самые отпетые из повес дают тон остальным. В студенческих ресторанах, особенно в мелких университетах, трапеза всегда бывает шумной; нелепые, безалаберные споры разгорают кровь: молодой человек выходит из-за стола возбужденный и в этом состоянии легко поддается наущениям грубых и предприимчивых товарищей. Компания отправляется в пивную, и начинается оргия. После такой встряски человек надолго становится неспособным к мирному труду и к тонким наслаждениям мысли. Все эти оргии оставляют после себя ядовитый осадок, разлагающий высшие чувства, которые бывают так неустойчивы в молодом человеке.

И если бы еще причины нравственной порчи этим исчерпывались, то молодые люди со здоровой, честной натурой могли бы их избежать; но, к сожалению, тут действуют и другие влияния более высокого порядка, и в том числе ходячие, общераспространенные софизмы, узаконяющие худшие из излишеств.

В психологическом отделе нашей книги мы рассмотрели взаимные отношения влечения и ума.

Влечение само по себе слепо: ум дает ему определенное направление, и с того момента, когда оно стало сознательным, когда ум указал ему средства и цель, его могущество удваивается. Со своей стороны влечение как бы притягивает и группирует вокруг себя идеи одного с ним характера, усиливает их своей силой и в свою очередь усиливается ими. Получается такой тесный союз — лучше сказать, такая солидарность, что все, что ослабляет или укрепляет одну из союзных сторон, ослабляет или укрепляет и другую. Это верно в особенности относительно полового влечения. Здесь образы имеют большую силу реализации. Возбуждаемые ими желания передаются половым органам с изумительной быстротой. Половое влечение — раз оно проснулось — пожаром охватывает сознание и вызывает представления такой живости и

силы, что они доходят почти до галлюцинаций. И обратно: нет другого влечения, которое бы так легко возбуждалось представлениями и образами. Трудно себе представить, какую огромную роль играет воображение в деле любви, и тем более для праздного ума. Можно смело сказать, что когда ум ничем не занят, автоматическая работа мысли имеет своим главным предметом желания именно этого порядка. Лучшим доказательством этому может служить тот факт, что только в придворных сферах да в современном «свете» любовь могла и может составлять преобладающий интерес жизни, потому что светские люди проводят жизнь в безнадежной праздности. Для человека трудящегося любовь есть только то, чем она и должна быть, т.е. *hors d'oeuvre*.

Для наших молодых людей большое несчастье, что в этой, и без того трудной, борьбе с чувственностью окружающая среда не только не дает им поддержки и одобрения, но действует на них возбуждающим образом. Малейшая случайность, — и хрупкое кормило ума разлетелось в щепки, и душа предоставлена на произвол автоматизма страсти. Душа юноши все равно что весеннее море: она никогда не покойна, и даже когда на первый взгляд она как будто и кажется покойной, внимательное исследование всегда откроет в глубине ее могучие «подводные течения», которые при малейшем ветре могут вызвать опасную зыбь. Поэтому следовало бы тщательно избегать всего, что может вызвать даже мимолетную бурю. Но как с этим быть молодому человеку, который живет в таком обществе и среди такой литературы, где возбуждающие влияния встречаются на каждом шагу? Наша молодежь окружена опьяняющей атмосферой: все как будто нарочно соединяется вокруг нее, чтобы помутить ее разум во всем, что касается наслаждений любви. Не подлежит никакому сомнению, что интеллектуальные и эстетические наслаждения совершенно чужды огромному большинству «благовоспитанных людей»; что многие из них неспособны даже сколько-нибудь глубоко насаждаться красотами природы, и только чувственные наслаждения им близки и понятны. Доступное не только человеку, но почти всем животным, чувственное наслаждение легко достижимо, не требует продолжительных жертв; естественно поэтому, что человек, утрачивая тонкие вкусы, становится способным понимать только грубые чувственные удовольствия.

Результатом такого порядка вещей бывает то, что все светские сборища, устраиваемые под всевозможными предлогами — под предлогом музыки, драматических представлений и т.д. — служат исключительно для возбуждения чувственности. Возвратившись с одного из таких вечеров, молодой человек входит в свою скромную студенческую комнату в каком-то угаре; его воображение полно волнующих образов; яркое освещение, танцы, соблазнительные туалеты... и рядом эта бедная комнатка... Такой контраст пагубно действует на юную душу. Сравнивая то и другое, молодой человек выносит самое безотрадное впечатление, ибо ничто не приучило его относиться критически к этим воображаемым удовольствиям. Он не мог проникнуться той истиной, что при всем богатстве своих сил и благодаря

богатству своих иллюзий он не способен видеть вещи в их настоящем свете. Представляя себе общество и людей, он создает свой собственный фантастический мир, в котором живут и действуют фантастические, измышленные им лица, и эта галлюцинация рисуется ему так живо, что заслоняет от него действительность. Неудивительно, что его скромная, трудовая жизнь — такая тихая, спокойная, свободная, такая счастливая в настоящем и лучшем значении этого слова — кажется ему в силу контраста невыносимо монотонной и скучной. Бедному юноше и на мысль не приходит попытаться заглянуть в свою душу. Полученное им воспитание не подготовило его к этому, и теперь ничто не предостерегает его об опасности. Напротив. Вся современная литература, почти что сплошь, есть прославление полового акта. Если верить нашим романистам и нашим поэтам, — по крайней мере очень многим из них, — то высочайшая, благороднейшая цель, к какой только может стремиться разумное существо, сводится к удовлетворению инстинкта, присущего человеку наравне со всеми животными. Не мыслями своими, не поступками должны мы гордиться, а чем же? — Физиологической потребностью. «Карлейль больше всего ненавидел Тэккерея за то, что он изображает любовь на французский лад, как нечто, захватывающее всю жизнь человека и составляющее главный ее интерес, тогда как в действительности любовь (или то, что называют любовью) занимает в человеческом существовании очень небольшое число лет, и даже за этот ничтожный промежуток времени представляет лишь один из множества несравненно более серьезных интересов, наполняющих жизнь... Говоря откровенно, весь вопрос любви до того ничтожен, что в героическую эпоху никто не дал бы себе труда даже думать о нем — не то что говорить»¹.

А вот это говорит Манцони: «Я принадлежу к числу тех людей, которые находят, что писатель никогда не должен говорить о любви в таком тоне, чтобы она казалась читателю привлекательной... любовь — необходимая вещь в этом мире, но ее всегда будет достаточно, и право, по моему, совсем не полезно и не стоит труда ее культивировать, ибо, желая культивировать любовь, мы только возбуждаем ее там, где она не нужна. Есть другие чувства, в которых нуждается нравственность и которые писатель обязан по мере сил насаждать в душе своих читателей: эти чувства — сострадание, любовь к ближнему, кротость, снисходительность, стремление к самопожертвованию...».

Эти слова Карлейля и Манцони выражают самую здравую мысль, какая когда-либо появлялась в печати об этом важном вопросе. Но помимо тех нелепых идей о любви, которые проповедуются литературой, существующей для «большой публики», т.е. в сущности литературной низшего разбора, есть еще много ходячих софизмов, заранее обезоруживающих учащуюся молодежь в ее попытках воспитать в себе волю. Большая часть этих софизмов имеет своими творцами врачей и высказывается тем авторитетным, самоуверенным тоном, какой имеет обыкновение принимать большинство людей этой профессии, провозглашая в виде бесспорных аксиом свои положения, основанные на индуктивных, поистине ребяческих выводах.

Обыкновенно прежде всего приводятся в примере животные в доказательство того, что отправление вышеупомянутой физиологической функции составляет естественную потребность человека как высшего животного в зоологической серии. Пример животных! Да разве не служит этот пример одним из лучших опровержений их положения, хотя бы в том, что отправление этой физиологической функции у большинства животных имеет свои периоды, разделенные большими промежутками времени? И что же, с другой стороны, отличает человека от животных, как не его способность не поддаваться игу чисто животных потребностей? Да и что это за потребность, которую столько людей сумело в себе побороть? И не вправе ли мы изумляться, встречая такие строки в сочинении знаменитого врача: «Любовь занимает в жизни первенствующее место. Достигнув известного возраста, — того возраста, когда уже не остается никаких надежд, кроме надежды не слишком быстро скатиться по склону, приводящему к старости, — убеждаешься, что все суета в этом мире, кроме любви!» — физической любви, разумеется, ибо во всей главе ни о чем другом не говорится. Как? все интеллектуальные и эстетические наслаждения, любовь к природе, старания, прилагаемые для улучшения участи бедных и обездоленных, родительская любовь, милосердие, — все это ничто, суета, все это можно отдать за несколько мгновений физического наслаждения, которое мы делим почти со всеми животными! Скажи что-либо подобное Ренан, это бы еще было понятно, ибо сей великий стилист никогда не вносил в свои исследования человеческих интересов. Его блаженный оптимизм — признак мелкой души — не имеет в себе ничего, что шло бы вразрез с такими идеями. Но чтобы подобные мнения проповедовал врач, который всю свою жизнь имеет дело с человеческим страданием, который изо дня в день видит, как люди умирают — это поистине непостижимо! Да наконец, если бы в этом заключалась высшая цель человеческой жизни, почему же бы тогда старческая любовь казалась нам достойной презрения? И какова была бы тогда жизнь стариков, лишенных, благодаря своему возрасту, этой стороны своего человеческого, вернее сказать, своего животного естества? Не побоимся же сказать прямо: высказывать такие положения глупо и подло. Мало того: такого рода воззрения обличают в своих последователях такую узость взгляда, — они так далеки от действительности, что просто становишься в тупик, когда встречаешь что-либо подобное у человека науки, которому, казалось бы, должно быть в привычку основывать свои выводы на более или менее солидных данных.

Взгляните, как мы живем и как живут другие, и вы убедитесь, что для огромного большинства крестьян, рабочих и вообще всех людей, которые ведут здоровую, деятельную жизнь, не объедаются до расстройства желудка и не проводят в постели по двенадцать часов в сутки, любовь, как говорит Карлейль, есть лишь *hors d'oeuvre*, добавочное блюдо. В жизни этих людей она играет самую незначительную роль. Пусть любовь составляет все для праздных людей: на деле так оно и есть, и мы это знаем, потому что для них печатаются журналы и книги, специальное назначение которых — возбуждать

чувственность. Но какая жестокая кара ожидает этих людей! Раз они пришли в тот возраст, когда любовные наслаждения становятся недоступны, жизнь теряет для них всю свою прелесть, весь интерес: они являют собой смешное и отталкивающее зрелище бессильных шалунов. Утверждать, что для старика не существует другого занятия, как утешать себя чувственными мечтаниями, что может быть ужаснее такого приговора! Не во сто ли раз лучше, когда старик радуется, как радовался Цицерон, что он освободился из-под ига страстей и может отдать все свои силы политике, литературе, искусствам, науке, философии?

Бессмысленное мнение, что любовь составляет все в жизни, очень часто пытаются подтвердить не менее нелепыми софизмами. Говорят, например, что целомудренная жизнь вредно действует на здоровье. Никто, однако, не может сказать, чтобы монастырские общины, где целомудрие обязательно, давали больший процент болезней, чем проституция. Конечно, если молодого человека запереть одного без книг, без всякой возможности работать, чувственные его вожделения могут сделаться непреодолимыми и вредно отозваться — не на здоровье его, а на умственных способностях. Но человек деятельный, энергичный всегда справится со своей чувственностью. Повторяю: в физиологии допускается перевод фондов, и труд всегда поможет нам восторжествовать над желанием. К тому же опасности воздержания — весьма проблематичные, к слову сказать — ничто в сравнении с теми опасностями, какие представляет противоположная крайность. Когда в одном только Париже существует две больницы для венерических болезней, когда число людей, страдающих размягчением и сухоткой спинного мозга вследствие излишеств в этом направлении, с каждым годом возрастает, — становится по меньшей мере смешно, когда автор книги о гигиене, огромной книги в 1500 страниц *in octavo*, торжественно заявляет, что воздержание подрывает здоровье. Не очевидно ли для каждого, что если что разрушает здоровье, так это чувственность, а уж никак не воздержание, которое, напротив, укрепляет организм и придает умственным способностям поразительную полноту сил и энергии. И в чем же, наконец, заключается средство восторжествовать над своими вожделениями? Неужели в том, чтобы всегда им уступать? Каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с психологией, знает, что основное свойство всякого вожделения — к какой бы области желаний оно не относилось — это ненасытность, которая возрастает тем больше, чем легче мы уступаем желанию. Курьезный способ сражаться с врагом — трубить к отступлению, как только он показался! Когда мы уступаем своим вожделениям — чувственным в особенности, рассчитывая этим их укротить, это только доказывает, что мы совершенно не знаем себя. Уступать в этом случае — значит не укрощать, а разжигать. Лучшее средство укротить свою чувственность — это бороться с ней всеми способами... Но оставим эти медицинские теории: они так по-детски наивны, что могут служить только новым доказательством того, как слабы познания большинства студентов медицины в логике, психологии и этике.

Итак, с чувственным желанием надо бороться. Правда, победить не легко. Победа в этой борьбе есть высшее проявление власти над своим «я». У нас принято смеяться над целомудрием двадцатилетних юношей; в разврате видят доказательство возмужалости, и, зная это, становится грустно, когда подумаешь, до чего могут извращаться понятия влиянием речи, готовыми формулами. Остаться победителем в борьбе с могущественнейшим из человеческих инстинктов — разве это не высшее торжество чистейшей, благороднейшей из человеческих сил — силы воли? В этом, и ни в чем другом, доказательство возмужалости: власть над собой — вот ее признак, и наша церковь совершенно права, усматривая в целомудрии высочайшую гарантию энергии воли, — энергии, которая, в свою очередь, гарантирует священнику возможность всех других жертв.

Но если победа и возможна, дается она не легко. И здесь, как и повсюду, чем победа желательнее, тем она больше требует усилий, настойчивости и умения. Насколько разнообразны причины болезни, настолько же многочисленны и лекарства против нее.

Прежде всего надо стараться устранить непосредственно предрасполагающие условия. Необходимо раз и навсегда урегулировать свой сон; ложиться только тогда, когда чувствуешь себя усталым, и вставать, как только проснулся. Следует также избегать слишком мягких постелей, располагающих лениться по утрам. Если ваша воля слишком слаба, чтобы заставить вас подниматься с постели, как только вы проснулись, попросите кого-нибудь (к кому вы не считаете неловким обратиться за подобной услугой), чтобы вас подымали насильно, несмотря на ваши протесты в тот момент.

Кроме того, студент должен следить за своим питанием, стараться избегать горячительных блюд, не есть слишком много мяса, не пить крепких вин, которые совершенно не нужны в этом возрасте. Лучше всего, если он наймет себе спокойную, веселенькую, светлую квартирку где-нибудь подальше от университета и будет почаще обедать дома (есть много блюд, которые легко приготовить самому).

Необходимо также наблюдать, чтобы не оставаться долго в сидячем положении; необходимо поддерживать в комнате чистый воздух и умеренную температуру. По вечерам следует выходить и гулять до усталости, обдумывая свою работу на завтра, а там ложиться спать. Ежедневная прогулка обязательна во всякую погоду; как говорит один английский юморист, для того, кто смотрит на улицу из окна своей комнаты, дождь всегда бывает сильнее и погода хуже, чем для того, кто не боится выйти со двора.

Не следует однако забывать, что у молодых людей, придерживающихся умеренного режима питания и исполняющих правила разумной гигиены, приступы чувственности бывают редки и легко подавляются; таким образом, борьба с чувственностью не представляла бы никаких затруднений, если бы физическое возбуждение не находило себе поддержки в возбуждающих влияниях интеллектуального происхождения: в ярких, отчетливых образах,

которые рисует нам воображение, в предвкушении удовольствия удовлетворенного желания и т.д.

Выше мы рассмотрели подробно взаимные соотношения интеллекта и страсти. Страсть — сила слепая по самому своему существу — без поддержки ума совершенно бессильна; но раз она заручилась содействием ума, она развивается до невероятных размеров, порождая бурный наплыв мыслей и чувств, которые действуют в ее интересах и которым не может противостоять даже очень сильная воля. Поэтому необходимо следить, чтобы наши мысли не оказывали поддержки нашим страстям. Общее правило: открытая борьба с чувственностью всегда опасна, — уделяя ей наше внимание, хотя бы только затем, чтобы ее подавить, мы ее укрепляем. Бежать от опасности — вот истинное мужество в этой борьбе. Бороться в этом случае можно только с помощью хитрости. Идти на врага открыто — значит идти на верное поражение. В противоположность великим интеллектуальным победам, которых мы достигаем, только постоянно о них думая, великие победы над чувственностью достигаются тем, что мы никогда не думаем о них. Надо стараться всеми правдами и неправдами не давать зародившемуся искушению вступить в союз с нашей мыслью. Надо не давать пробудиться чувственным образам, пока они еще только дремлют в нашем сознании. Надо избегать чтения романов, а тем более скабрёзных журналов и книг. У Дидро есть страницы, которые действуют как прием самого сильного возбуждательного. Не следует рассматривать непристойных гравюр, действующих на воображение сильнее всяких описаний. Надо избегать общества развращенных товарищей; надо до мельчайших частных предвидеть все случайности и никогда не допускать, чтобы искушение застало нас врасплох. Начинается обыкновенно с того, что в сознание проникает простая мысль, еще не имеющая над нами влияния. Если ум бодрствует в этот момент, то ничего не может быть легче, как прогнать незваную гостью. Но если, благодаря нашей небрежности или слабости, смутные образы получили определенную форму, если мы находим удовольствие вызывать их и созерцать, — тогда уже поздно.

Вот почему умственный труд есть лучшее лекарство против чувственности. Когда мысль поглощена серьезной работой, робкие призывы страсти, не получая поддержки, не могут перейти за порог сознания и не доходят до наших ушей: они могут вторгнуться в наше сознание только тогда, когда ум бездействует. Праздность есть мать всех пороков — это справедливее, чем обыкновенно полагают. В какую-нибудь несчастную минуту, когда мы отдаемся мечтам или когда ум наш не занят, в наше сознание проскальзывает искушение, и раз мы направили на него наше внимание, оно получает определенную форму и растет. Однородные с ним воспоминания просыпаются одно за другим; союзники вырвавшегося на волю зверя вооружаются, спланиваются, и кончается тем, что разумная воля отступает, предоставляя поле действия животным порывам.

Поэтому можно сказать, не боясь ошибиться, что праздный, ленивый человек всегда будет рабом своей чувственности, — не потому только, что

пустота его мысли оставляет, так сказать, сознание открытым для чувственных вожделений, но еще и потому, что человек, а тем более молодой, нуждается в удовольствиях, в живых, волнующих впечатлениях. И если он не ищет этих удовольствий, этих волнующих впечатлений в умственном труде, в здоровых, укрепляющих развлечениях, он неизбежно будет их искать в порочных привычках или в разврате.

Вот почему для того, чтобы мы могли противостоять приступам чувственности, еще недостаточно, чтобы ум наш работал: надо, чтобы эта работа приносила нам наслаждение, живую радость производительного труда. Когда мы беремся за несколько дел, когда внимание наше разбрасывается, работа не радует нас; напротив, такая работа только раздражает, порождает недовольство собой и в результате, почти в такой же мере, как праздность, способствует развитию страсти. Только методический, правильный труд может наполнить собой нашу мысль, дать ей настоящий, непрерывный и прочный интерес. Такой труд дает нам ощущение удовольствия от сознания нашей энергии, вроде того, какое испытывают туристы в горах, когда вершина с каждой минутой приближается к ним. Такой труд — и только он один — ставит гранитную преграду между нашей мыслью и призывами чувственности.

И если этот бодрый, радостный труд подкрепляется еще деятельными привычками, если мы умеем пользоваться здоровыми удовольствиями, которые были перечислены выше, тогда — чтобы окончательно обеспечить себе безопасность — остается только дать определенное удовлетворение тем неясным порываниям, которые будит в нашей душе наступившая зрелость. В счастливом возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет ничего не может быть легче, как влюбиться в природу; в этом возрасте так естественно восторгаться какой-нибудь горой, лесом, морем, страстно любить все великое и прекрасное: искусство, литературу, науку, историю, не говоря уже о новых горизонтах, какие открывает чувству альтруизма разработка социальных идей. Как щедро будет вознагражден за свои усилия молодой человек, который выполнит эту программу! Воля его укрепитя, ум разовьется, чувства облагородятся: все это внесет в его жизнь столько счастья, что останется только позавидовать ему. Даже падения (ибо и он вкусит горечь падения) не уменьшат его достоинства мужчины: он всегда сумеет подняться и смело кинется в новую борьбу. Полная победа невозможна, но в этой борьбе человек уже победил, если он не слишком часто пасует перед врагом и, испытав поражение, не принимает его с легким сердцем.

4. Но мы должны рассмотреть в отдельности каждую из двух форм, какие принимает чувственность в жизни учащейся молодежи. Как мы уже видели, средний уровень нравственности наших студентов чрезвычайно низок, и это объясняется тем, что им приходится жить в большом городе без руководителей и без надзора. Понятно, что большинство из них растрчивает свой юношеский пыл, свою молодую энергию на любовные похождения самого низменного сорта. Никто не предостерегает их об опасности: опьяненные своей новой свободой, они очень долго не могут рассеять тех

наивных иллюзий, которые служат основанием их представлений о студенческой жизни. Они не привыкли относиться критически к своим удовольствиям: никто их этому не учил. Только гораздо позднее у них появляется подозрение, что преобладающую роль в этих удовольствиях играет тщеславие.

Меньше всего могут их на этот счет просветить товарищи, с которыми они встречаются в ресторанах. Очень многие из этих товарищей имеют любовниц и — частью потому, что они и сами заблуждаются, частью из чванства — преувеличивают приятные стороны своего положения, не сознавая, что эти приятные стороны имеют свою горькую примесь, и забывая о том, как дорого они покупаются. Они не принимают в расчет, что ради удовольствия иметь любовницу они принуждены жить в обществе грубой, неразвитой женщины, переносить ее капризы, глупые выходки, дурное расположение духа, страсть к мотовству, получая взамен физическое наслаждение и ни капли счастья. Большинство студентов держит любовниц единственно из тщеславия, чтобы иметь возможность показывать их на гуляньях, хвастаться ими перед товарищами: не будь этого желания щегольнуть «перед райком», они не вынесли бы и восьми дней такой жизни¹. Всею виной в этом случае абсолютное отсутствие критики: раз мы кладем на одну чашку весов физическое наслаждение и удовлетворение чувству тщеславия, то на другую следовало бы положить все те потерянные дни и часы, которые мы могли бы отдать здоровому наслаждению производительного труда, расстройство здоровья и нравственное оупение, к которым приводит такой образ жизни; следовало бы положить на другую чашку весов восхитительные путешествия, которые мы могли бы совершить, долги, которые придется платить впоследствии, сожаления, ожидающие нас в зрелом возрасте, — все то, чего мы лишаем себя в будущем, и всю скуку, все унижительные ощущения настоящей минуты.

Есть только одно средство спастись: бежать от опасности, или — если бежать поздно, — то решительно разорвать с прошлым: переменить окружающую обстановку, расстаться с товарищами, чье влияние кажется нам вредным, переехать в случае надобности на другую квартиру и даже в другой квартал. Необходимо и в мыслях, и на словах, и в поступках отречься от жизни, которая нас тяготит, а главное, необходимо как можно строже разобрать те воображаемые удовольствия, которые доставляет нам посещение так называемых «студенческих жен», и хорошенько понять их гнусность. Если бы наш студент дал себе труд подвергнуть строгой оценке эти мимолетные связи, если бы в течение каких-нибудь двух недель он каждый день записывал в один столбец доставляемые ими удовольствия, а в другой — те минуты скуки и разочарования, которые они ему приносят, он был бы поражен получившимся результатом. Он был бы, пожалуй, еще более поражен, если бы каждый вечер или, еще лучше, каждые два часа записывал свое «душевное состояние». Он понял бы тогда, что им владела страшная иллюзия, подменявшая в его сознании итоги каждого его дня, каждого месяца и заставлявшая его воображать, что он веселится, тогда как в

действительности каждая минута дня, взятая в отдельности, была скорее минутой скуки, отвращения или, в лучшем случае, — равнодушия. Такие ошибки объясняются одним очень любопытным явлением: я понимаю самовнушение, вытесняющее действительное воспоминание и подставляющее на его место воспоминание собственного нашего изобретения. Такое якобы воспоминание бывает вымыслено с начала до конца: это то состояние сознания, которого мы ожидали, которое, по нашему наивному представлению, должно было бы существовать, но которого ни на один миг не было в нашем сознании. Наша способность создавать себе иллюзии в этом отношении так велика, что очень часто мы совершенно не замечаем настоящего, действительно существующего состояния нашей души, потому что это состояние не согласуется с тем, на что мы рассчитывали. И никогда этот самообман не бывает сильнее и не имеет таких печальных последствий, как при оценке молодым человеком тех удовольствий, какие доставляют ему его связи с продажными женщинами. Если перебрать минуту за минутой те часы, которые он проводит с этими жалкими созданиями, исполненными умственного убожества, грубых и нелепых понятий и невыносимых капризов, то — повторяю — не найдется ни одной, которую можно было бы назвать вполне приятной, а между тем, под влиянием тщеславия, общая сумма всех этих тяжелых минут в воспоминании представляется приятной. Ни попусту растраченное время, ни деньги, которые мы так грубо бросаем, ни ослабление умственных способностей, которое может явиться последствием наших излишеств, — ничто не принимается нами в расчет. Скольких радостей мы себя лишаем! Сколько музеев могли бы мы посетить! Сколько хороших, возвышающих душу книг могли бы прочесть! Прогулки с избранными друзьями, разумные, развивающие беседы — обо всем этом мы забываем. Мы забываем, что отвращение, неизбежно наступающее после всех этих оргий, есть одно из самых печальных и самых презренных состояний человеческой души. Мы забываем, что на вакации мы могли бы посетить Альпы, Пиренеи, побывать в Бретани и что мы лишаем себя этого удовольствия. Мы не соображаем того, что ценою нескольких ночей скотского наслаждения мы могли бы купить себе поездку в Бельгию, Голландию, на Рейн или в Италию. Мы не хотим думать о том, какими восхитительными воспоминаниями обогащают путешествия двадцатилетнюю душу, — воспоминаниями, которые с таким наслаждением переживаются в дальнейшей жизни и облегчают минуты уныния и скучной, неблагодарной работы. А сколько хороших книг мы могли бы купить! Художественные произведения, описания путешествий, гравюры, картины — все это были бы верные товарищи всей нашей жизни; мы имели бы их под рукой в долгие зимние вечера. Но мы их не покупаем, жертвуя ими все тому же тщеславию.

Да и тщеславие-то это — тщеславие, выражающееся в желании чем-нибудь заявить о себе, — самого низменного сорта. Уж, разумеется, оно не стоит того чувства гордого торжества, какое доставляют нам наши успехи, когда они являются результатом труда; его нельзя сравнивать даже с теми

извинительными формами тщеславия, какие проявляет молодой человек, показывая свои скромные сокровища по части изящных искусств или рассказывая о своих путешествиях.

Итак, жизнь студента, который «веселится», есть в сущности безнадежно монотонная жизнь, бесплодная и бессознательная, а главное: глупая — до отвращения глупая и бесцельная.

5. Социальные последствия проституции так ужасны, печальная жизнь развратника, которую — должно быть, по недоразумению — называют «веселой», создает молодому человеку такую тряпичную нравственность и очень часто приводит его к таким жестоким поступкам; жизнь эта грозит такими опасностями учащейся молодежи, и наконец, бессмысленная растрата времени и денег так долго отзывается на последующих годах, что, по сравнению, даже порочные привычки — вопреки господствующему против них предубеждению — не заслуживают таких нареканий. Во-первых, если они и оказывают вредное воздействие на общее состояние здоровья, то по крайней мере не порождают гнусных болезней. Во-вторых, последствия дурных привычек падают только на того, кто их заслужил: они не посылают неповинных жертв в приюты для подкидышей, не порождают ни самоубийств, ни семейных драм; несчастный, который им предается, выходя из университета, не оставляет никого, кто будет потом всю свою жизнь клясть его имя. Кроме того, сам по себе этот порок не имеет ничего привлекательного: никто им не гордится, и, следовательно, к оценке доставляемых им удовольствий не может примешаться тщеславие. Всякий знает, что это порок, и порок постыдный, который скрывают. Порочные привычки представляют совершенно определенный патологический случай, и те, кто им предается, оплакивают свое падение. По всем этим причинам лечение в этом случае оказывается очень простым и выздоровление несомненно. Гнусность этой несчастной привычки не прикрывается никакими софизмами; ни один романист, ни один поэт, насколько мне известно, не воспевал ее в своих творениях; ни один отец семейства не скажет своему сыну: «Предавайся, мой друг, этому занятию на здоровье: надо же отпраздновать молодость!». Удивительная вещь: относительно этого порока мы не видим даже, чтобы он поощрялся внушительным авторитетом врачей. Торжественно провозгласив «необходимость» любви «для здоровья», господа врачи с какой-то смешной непоследовательностью отвергают эту простую, экономическую и безопасную форму физической любви, которой они так восторгаются. Раз отправление физиологической функции такая священная вещь, то этот остракизм против единственной формы ее отправления, доступной для студентов робкого характера или для студентов-бедняков и калек, остается совершенно необъяснимым.

Из приводимых ими посылок нет никакой возможности вывести неодобрительного заключения по адресу этого порока... Но Бог с ними — с этими карикатурными противоречиями. Остается все-таки несомненным, что несчастные, страдающие этим неврозом, принуждены довольствоваться известным разрядом ощущений, к которым не примешиваются никакие

посторонние чувства. А это-то и делает борьбу с этой болезнью — я не скажу — легкой, но возможной. И здесь опять-таки физиологическая потребность не имеет большого значения: и здесь можно всегда произвести «перевод фондов» и обратить избыток сил на другую статью. Все зло идет от воображения; поэтому самое благоразумное, что может сделать человек, когда в сознании его возникла мысль такого характера и когда он заранее сознает себя побежденным, это — уйти из дому, стараться быть в обществе или же решительно засесть за работу. Открытая борьба в этом случае особенно опасна, и, только убегая от опасности, мы можем одержать в ней победу. Тут надо поступать так, как поступаем мы в тех случаях, когда нам вслед лают собаки: надо идти своей дорогой не останавливаясь, потому что собаки не отстанут, пока мы будем обращать внимание на их лай. Если полная победа над собой невозможна, то надо по крайней мере стараться, чтобы случаи падений бывали как можно реже и промежутки между ними как можно длинней. Если привычка слишком укоренилась, не следует бояться прибегнуть к медицинской помощи.

Итак, повторяю: главные причины этой позорной болезни — это опять-таки умственная пустота, благодаря которой возбуждающие влияния обрушиваются на человека всей своей силой, и отсутствие здоровых, укрепляющих возбуждений, и следовательно, лучшее лекарство против нее — методический, т.е. производительный и приятный труд, и жизнь, богатая деятельными и бодрящими удовольствиями.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Враги, с которыми надо бороться: товарищи и проч.

Главная часть нашей задачи окончена; остается только сделать беглый обзор тех побочных опасностей, какие могут угрожать успешности труда нашего студента. Само собою разумеется, что он должен тщательно выбирать свои знакомства и осторожно сближаться с товарищами. В своей студенческой жизни он встретит много личностей, которые, под видом друзей, окажутся его злейшими врагами :: могут испортить ему будущее. Такими врагами могут оказаться, во-первых, молодые люди из богатых семейств. Не будучи поставлены в необходимость заботиться о завтрашнем дне, избалованные роскошью домашней обстановки, такие молодые люди проводят свою юность в глупых и пустых развлечениях, подготавливая себе такую же пустую и глупую старость. Сознывая в глубине души, что достойны презрения, они и сами презирают себя и, чтобы скрыть это презрение, смеются над товарищами, которые хотят трудиться. Но есть у студента враг другой, гораздо более опасной породы, которая производит свои опустошения, еще начиная с коллежа: это пессимисты из слабости, отчаявшиеся в успехе, еще не вступая в борьбу. Как все слабые люди, они обыкновенно страшно завистливы — подло и лицемерно завистливы, и это низкое чувство делает из них прозелитов своего рода нового толка, — прозелитов терпеливых, настойчивых: они как будто задаются целью обескураживать молодежь в ее благих начинаниях; своим ежечасным влиянием они подавляют всякую энергию и действуют на нее, как гасильник: подстерегая каждую вашу неудачу, они приобретают над вами гибельную власть. Сознывая свою слабость, понимая, какое грустное будущее их ожидает, они находят особенное удовольствие в том, чтобы мешать работать другим.

Все остальные — просто лентяи, которые всякими правдами и неправдами стараются сманить вас к безделью, тащат вас в пивную, доставляют вам лишний случай кутнуть. Французское студенчество стоит во многих отношениях выше немецкого, которое живет замкнутой жизнью кружка, вследствие чего утрачивает всякую инициативу, всякую независимость, и пьянствует, подчиняясь влиянию среды. Французские студенты меньше пьют и проявляют больше самостоятельности. Но все-таки большинство из них сильно преувеличивает истинные размеры своей свободы. Правда, они живут на своей воле, но тем не менее они — рабы: они всюду носят с собой свое рабство, ибо источник его в них самих. Тщеславие — а в двадцать лет оно велико — делает из них послушных слуг общественного мнения, т.е. мнения товарищей и преимущественно худших из них, имеющих обыкновенно за собой всю силу авторитета, какую дают человеку смелость, решительная, самоуверенная манера, повелительный тон и всегдашняя готовность заклеить в другом все честное и достойное уважения. Такие господа имеют по большей части все качества, действующие подавляющим образом на слабую волю, и в силу этого импонируют всем, кто к ним приближается. По мере того, как они вербуют себе все новых прозелитов, их авторитет возрастает, а бедные новички верят им на слово, что в погоне за

удовольствиями — вся суть настоящей студенческой жизни, и кидаются очертя голову в эту жизнь, глупее, бессодержательнее и утомительнее которой ничего нельзя себе представить. Они убивают свое здоровье, свой ум, стараясь заслужить одобрение тех, кем они восхищаются, и рабски им подражая. «Если бы мы довольствовались своими пороками, — говорит лорд Честерфильд, — немногие из нас были бы так порочны, как теперь». Подражать человеку, который не хочет знать ничего, кроме удовольствий, блистать в этой области — значит, по выражению того же автора, блеснуть, как блеснит гнилушка в темноте. Истинная независимость в том, чтобы не поддаваться подобным внушениям, чтобы называть такие удовольствия их настоящим именем тяжелой повинности. Независимый молодой человек всегда сумеет ответить на приставанья вежливым, но непоколебимым отказом. На него не подействует насмешка; он не будет вступать ни в какие споры о сравнительном достоинстве труда и наслаждения: для него это вопрос решенный, истина ему ясна. Он знает, что огромное большинство его товарищей никогда не размышляло о целях и задачах своей жизни; он знает, что они бессознательно отдаются увлекающему их вихрю внешних влияний, и так же мало придает значения их мнению, как какой-нибудь доктор-психиатр галлюцинациям сумасшедших, которых он наблюдает. В самом деле, не дико ли: я знаю, что люди заражены предвзятыми мнениями, нелепыми предрассудками, и — зная это — я буду подчиняться их взглядам! Я пожертвую своей свободой, своим здоровьем, прочными радостями труда, только чтобы избежать их сарказмов и заслужить их прошение или восхищение! Я знаю, что все их удовольствия не оставляют по себе ничего, кроме пустоты и усталости, и буду все-таки участвовать в их оргиях! Я знаю, что наша разговорная речь — не что иное, как резервуар, вмещающий в себе всю посредственность и грубость толпы, и — зная это — я допущу, чтобы на меня влияли ходячие эпитеты, готовые формулы, установившиеся ассоциации слов, воображаемые аксиомы, служащие для узаконения торжества в человеке его звериного естества над сознательной волей! Нет! никогда я не пойду на такие уступки. Одиночество в тысячу раз лучше. Лучше бежать из студенческого квартала — из этих студенческих казарм — и устроить себе где-нибудь подальше (настолько далеко, чтобы расстояние пугало наших праздных товарищей) хорошенький, чистенький, уютный уголок, где было бы много солнца и по возможности зелень. Надо искать общества людей выше себя: посещать своих профессоров, делиться с ними своими надеждами, сомнениями, посвящать их в планы своих работ, стараться найти между ними руководителя, перед которым мы могли бы исповедываться, как перед духовником. Надо заменить пивные и кафе систематическим посещением музеев, загородными прогулками и задумчивыми беседами с двумя-тремя развитыми друзьями.

Что касается отношения студента к студенческим общежитиям, то оно должно быть безусловно сочувственным. Большинство молодежи только выиграет, заменив ресторан студенческой столовой. Конечно, развивающей среды молодой человек там не найдет, но он может встретить там отдельных

личностей с более высоким развитием, познакомиться с ними и сойтись. Единственная опасность студенческих сборищ — и очень большая — это опасность приобрести привычку к безделью — привычку, глубоко укореняющуюся в темных, бессознательных областях нашей души и мало-помалу овладевающую нашей волей, уподобляя нас Гулливеру, которого лиллипуты приковали к земле, привязав его за волосы, по одному волоску, к маленьким колышкам, воткнутым в землю... Студент нуждается в обществе товарищей, в том возбуждении, которое оно ему дает; ему нужно время от времени присоединяться к студенческой компании и расточать вместе с ней в душевной, пропитанной табачным дымом комнате и в губительной неподвижности дорогие часы, отнятые у прогулки. Есть впрочем и другая опасность в студенческих общежитиях — тоже не малая: это та масса газет и журналов, которую находит там молодой человек. Слишком разнообразное чтение заставляет разбрасываться его ум и убивает в нем энергию: мысль получает лихорадочное возбуждение, аналогичное тому, какое вызывает в организме прием возбуждательного, и возбуждение это вдвойне губительно: губительно само по себе, как возбуждение, и потому еще, что оно не дает результатов. Кому из нас не случалось, прочитав подряд штук восемь—десять газет, прийти в дурное, нервное состояние духа? И кому не приходилось в таких случаях сравнивать эту нездоровую, нервную усталость с тем бодрым и живым наслаждением, какое дает нам методический, плодотворный, производительный труд?

При том условии, чтобы молодой человек не терял власти над собой, не приобретал привычки к безделью и не разбрасывал своих умственных сил, он может найти в студенческом общежитии полезное разнообразие, беззаботный смех товарищей, здоровое, молодое веселье, которое будет служить ему отдыхом, и даже развивающие споры, и — повторяю — там он имеет больше шансов встретить более или менее выдающихся людей и сойтись с ними. Как книгопечатание освободило человеческий ум, сделав доступными для него творения великих гениев всех времен, так и студенческие общежития освобождают молодежь, избавляя ее от пошлых ресторанных знакомств, от случайных встреч, и делают для нее доступным сближение с самыми разнообразными характерами, давая таким образом возможность молодому человеку выбрать себе друзей по душе. Без этих общежитий взаимные отношения между товарищами были бы делом случая. Товарищество студентов — это как бы выставка характеров, дающая возможность группироваться различным элементам и сближаться характерам, взаимно симпатизирующим в силу сходства или контраста; а для самовоспитания такое сближение необходимо, как мы это скоро увидим.

Что же до светских отношений, то единственное, что может вынести из них молодой человек, это — свободу обращения и известный лоск, отличающий всех светских людей. То, что зовется у нас «светским обществом», особенно в провинции, отнюдь не представляет такой среды, которая способствовала бы развитию ума и характера. Уровень нравственности в этой среде безнадежно низок и лицемерие безгранично.

Богатство все оправдывает: господствующая религия — раболепное преклонение перед деньгами. В этом обществе молодой человек не научится ничему, что превышало бы весьма низкий уровень нравственных понятий, и уж конечно не приобретет воздержных привычек. Не научится он там и уважать в человеке превосходство ума и характера. Лишенные настоящей, глубокой культуры, светские люди слепо подчиняются господствующим мнениям. А так как глупость заразительна, то молодой человек, слишком часто бывающий в свете, не замедлит испытать это на себе: самые дорогие его мысли потеряют для него интерес, и — что гораздо хуже — его благородное негодование против существующих зол современного общественного строя, его жажда справедливости и стремление к самопожертвованию станут казаться ему смешными. Светские люди переделают его на свой образец; сделают его равнодушным ко всему, кроме карьеры, отнимут у него все, что придает смысл человеческой жизни, высушат в нем молодые порывы в самих источниках. Хорош он будет, когда превратится в одного из тех, «постоянно смотрящих, постоянно слушающих и никогда не думающих» людей, о которых Мариво совершенно справедливо говорит, что они так же мало выносят из жизни, как если бы проводили ее у окна своей комнаты. Хорош он будет, когда он станет жить, ничем не интересуясь, принужденный — чтобы скрыть от себя самого удручающую пустоту своего существования — подчиняться тем тираническим требованиям, которые делают жизнь светского человека самой утомительной, самой глупой и безнадежно однообразной, какую только можно вообразить. Всякий серьезный спор считается в светском обществе признаком дурного воспитания, и потому разговор всегда вертится на пустяках. Молодой человек с умом и характером совсем не ко двору в этой среде: он не только теряет там свое время, но всегда оставляет частицу своей нравственной силы. Во всяком случае общество товарищей для него лучше: лучше и полезнее даже шумные столкновения определенных, резких мнений, — даже споры, пересыпанные крупной солью гневных эпитетов, как у героев Гомера...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Враги, с которыми надо бороться: софизмы ленивых

1. Лень, как всякая страсть, старается себя оправдать, прибегая к поддержке ума. А так как большинство из нас даже не пытается бороться с низшими влечениями своей природы, то можно заранее предсказать, что всегда найдется достаточно внушительных аксиом, изречений, имеющих характер непогрешимости, для оправдания и даже для прославления праздности.

Выше мы рассмотрели и — как я позволяю себе надеяться — окончательно разбили теорию неизменности характера, якобы рождающегося вместе с человеком. В этой наивной теории мы видели очень хороший пример могущества слов, заставляющих нас верить единству обозначаемых ими понятий: мы больше не будем к ней возвращаться, и если заговорили о ней теперь, то только затем, чтобы напомнить читателю, какую могущественную поддержку находят в таких верованиях наше малодушие и наша лень. Победа над собой трудна и требует времени: в этом-то быть может и коренится источник влияния, которое приобрела эта теория, и надо отдать ей справедливость — она сторицей возвратила нашей лени ту силу, которую от нее позаимствовал ас ь. К тому же теория неизменности характера представляет лишь одно из многих оружий, какие находит в защиту себя наша лень в арсенале непреложных аксиом, изобретенных ее проповедниками. «Сатана, искушая грешников, должен разнообразить свои приманки» — говорится в одной старинной сказке: для ленивых это совершенно не нужно. Ленивый проглотит не поморщившись самую грубую приманку, и страшный рыболов, закидывая свою удочку на эту рыбу, может быть уверен, что он всякий раз поймает добычу. Можно сказать положительно, что нет другой страсти, которая с такою готовностью цеплялась бы за самые наивные оправдания.

Студенты любят жаловаться на недостаток времени: в студенческой среде это самая распространенная жалоба. Те из студентов, кому приходится, за неимением средств к жизни, брать должности репетиторов, учителей в маленьких школах или гувернеров в частных домах, и даже те, кто дает частные уроки, твердят наперерыв, что этот труд берет все их время. Но, как мы уже говорили: времени всегда довольно тому, кто умеет им пользоваться. Не может быть, чтобы из двадцати четырех часов в сутки нельзя было выкроить каких-нибудь четырех часов, необходимых и вполне достаточных человеку для солидной интеллектуальной культуры. Да, этих немногих часов вполне достаточно, если мы умеем распределить наше время и уделить для умственных занятий те часы, когда ум обладает всей своей энергией, всеми ресурсами. И если к этим часам умственного труда, которые берут все наше внимание, мы прибавим (на черновую работу: на заметки, переписку, приведение в порядок материалов) те минуты, которые обыкновенно пропадают у нас без всякого смысла, то нет такой профессии, наряду с которой не могла бы идти в самых широких размерах работа саморазвития,

тем более, что даже такие профессии, как адвокатура, профессура, медицина, — профессии, на первый взгляд наименее рутинные, — очень скоро позволяют человеку почти совершенно обходиться без помощи ума. Пройдет несколько лет, и профессор будет знать чуть ли не наизусть весь курс своих лекций, а для адвоката и медика, за очень редкими исключениями, истощатся все новые случаи, могущие встретиться в их практике. Этим-то и объясняется, что у нас так много людей — и даже занимающих самые высокие общественные должности, — людей замечательных в своей специальности, но высшие духовные способности которых, незаметно для них самих, заржавели за недостатком упражнения, и которые, вне своих обязательных занятий, оказываются поразительно глупы. К слову сказать: то специфическое утомление, каким сопровождается учительский труд, отнюдь нельзя назвать умственным утомлением. Оно происходит от истощения мускулов, которыми обуславливается речь, а так как эти мускулы составляют весьма ограниченную группу, то и утомляются быстро. Но это местное утомление лишь слабо отзывается на общей энергии и нисколько не исключает возможности умственного труда.

К тому же очень многих молодых людей можно довести до сознания, что они могли бы уделить для умственных занятий часа три—четыре в сутки; но, возражают они обыкновенно, чтобы подготовиться к такому-то экзамену, надо работать по крайней мере по шесть часов в день: значит, не стоит и приниматься. Полноте, господа, могу я им на это сказать: попробуйте работать по три часа в день, и вы скоро убедитесь, что этот труд не будет бесполезен: будете ли вы работать шесть месяцев по три часа в день, или три месяца по шесть часов, сумма работы выйдет одна и та же, — одна и та же по количеству часов, но не по результатам, ибо, как говорит Лейбниц, «излишек работы не только не изоцряет, но, напротив, притупляет ум».

Есть еще и другой вариант софистических возражений, к которым прибегает для своего оправдания наша лень: человек соглашается, что время для умственных занятий всегда можно найти. Но, говорит он, бесполезно приниматься за работу, когда не чувствуешь расположения работать: когда ум дремлет, умственная работа не может быть хороша. Так, например, я перестал и пытаться работать по утрам, столько я теряю времени на то, чтобы «втянуться» в работу. — Какое заблуждение! После глубокого, освежающего сна всегда можно втянуться в работу: для этого достаточно четверти часа усилий над собой. Я не знаю ни одного случая, чтобы молодой человек (конечно, если он совершенно выспался и освежился за ночь) не был щедро вознагражден за свою настойчивость в борьбе с тем дремотным состоянием, какое мы испытываем по утрам: стоит сделать маленькое усилие, и дело пойдет превосходно; ум начнет работать свободно и легко, и в конце концов окажется, что то, что мы принимали за сонливость ума, было просто-напросто оцепенением воли.

2. Мы не можем перечислить здесь всех софизмов, которыми оправдывает себя наша лень. Тем не менее, в виду того, что наша книга предназначена для учащейся молодежи, мы считаем нужным указать на одну из таких

ходячих софистических аксиом, как самую вредную по последствиям, ибо она высказывается с легким сердцем солидными людьми, не подозревающими, какое опустошительное действие производят их слова.

Все говорят и повторяют, что умственный труд возможен только при больших университетах, и этим заранее обескураживают молодых людей, которых обстоятельства вынуждают жить в маленьких городах. У нас во Франции можно за частую услышать, что умственный труд возможен только в Париже. Не может быть ничего вреднее этого софизма, торжественно повторяемого даже талантливыми людьми.

Дело в том, что это воззрение содержит лишь крупицу правды: оно ложно почти целиком — какие бы авторитеты ни приводились в его подкрепление.

Прежде всего оно имеет против себя факты. Большинство великих мыслителей вынашивало свои идеи в уединении. Декарт, Спиноза, Кант, Руссо, а в наше время Дарвин, Стюарт Милль, Ренувье, Спенсер, Толстой — люди, обновившие современную мысль по стольким вопросам, — обязаны уединению лучшей частью своих работ.

И действительно, в самой природе умственного труда нет ничего такого, что ставило бы человека в необходимость жить непременно в Париже. Что во Франции один только Париж дает санкцию таланту, что один только Париж может организовать вокруг человека постоянно действующую рекламу, — этому не трудно поверить. В силу нашей крайней централизации всеобщее внимание обращено у нас на Париж, и понятно, что только в таком пункте, где, как в фокусе, сосредоточиваются взгляды всего народа, создаются блестящие репутации; но привилегия такой рекламы отнюдь не составляет исключительной привилегии таланта, и знаменитый убийца пользуется ею наравне с писателем, чьи творения будут жить века.

С другой стороны, если Париж полезен в том смысле, что он оповещает миру великие имена, то в течение всего долгого периода труда и усилий, который должен предшествовать первым успехам, Париж совершенно не нужен.

Что Париж необходим для физиолога или для психофизиолога, которым нужны лаборатории, — это еще далеко не доказано. И было бы абсолютно неверно, если бы наши факультеты были обращены в университеты с правом приобретать собственность и могли бы таким образом расширить свои помещения. Такие университеты представили бы новое доказательство того закона, установленного Геккелем, великим немецким естествоиспытателем, что «научная продуктивность университетов находится в обратном отношении к их величине». Этот факт объясняется тем, что в науке, как и во всем остальном, умственная энергия, инициатива, страсть к изысканиям возмещает собой недостаток материальной поддержки и делает чудеса даже при слабых материальных ресурсах, и наоборот: инертная мысль останется бесплодной, имея к своим услугам самые роскошные лаборатории. Не лаборатория тут важна, а энтузиазм, который творит великие дела.

Лаборатория служит только для проверки уже зародившихся идей: открытие — в идее, а сами идеи внушаются не химическими приборами.

За вычетом естественных наук остается еще история, для изучения которой важно жить в определенном месте, так как, чтобы заниматься историей, надо иметь под рукой документы и, следовательно, жить там, где они хранятся; но философия, литература, философия истории и, из естественных наук, математика, ботаника, зоология, органическая химия, геология — разве для изучения этих наук надо непременно жить в большом городе? Коль скоро ум и талант заключаются не столько в поглощении большого количества материалов, сколько в выборе подходящего материала и в надлежащем его усвоении, коль скоро выдающийся ум отличается главным образом способностью организовать уже наблюденные или собранные факты и придавать им жизнь, то разве не ясно, что за неизбежными поисками и справками в библиотеках должны следовать долгие периоды спокойного размышления?

В известном смысле большие библиотеки представляют даже одну весьма невыгодную сторону. Имея всегда возможность узнать, что думали наши предшественники об интересующем нас вопросе, мы кончаем тем, что теряем привычку думать самостоятельно. А так как ни одна способность не утрачивается так быстро, за недостатком упражнения, как способность к усилию самостоятельной мысли, то мы очень скоро привыкаем заменять активную работу самостоятельного исследования простым усилием памяти. Можно принять почти за правило, что усилие самостоятельной мысли бывает обратно пропорционально богатству ресурсов, какие представляет окружающая среда. Вот почему студенты, обладающие выдающейся памятью, в большинстве случаев оказываются ниже своих товарищей, менее одаренных в этом отношении. Не полагаясь на свою способность удерживать факты, люди с сравнительно плохой памятью стараются прибегать к ней как можно реже. Выбирая то, что необходимо запомнить, они тщательно сортируют свой материал и таким образом, при помощи повторения, запоминают только существенное; все же случайное забывают, зато существенное укладывается в их памяти прочно. Такого рода память можно сравнить с отборной, хорошо организованной армией. Итак, человек, для которого большие библиотеки недоступны, окружает себя только избранными книгами, но читает их с полным вниманием, вдумывается в каждый период, разбирает каждую фразу, а чего не находит в книгах, то пополняет личными наблюдениями и напряженным усилием мысли, представляющим превосходную закалку для ума.

Для работы организации материалов, о которой мы сейчас говорили, необходим полный покой, а в Париже его трудно найти. Не говоря уже о том, что там невозможно окружить себя той абсолютной тишиной, какую мы находим в деревне, где человек, так сказать, слышит свои мысли, — в Париже мы попадаем в самую печальную гигиеническую обстановку. Перспектива дымовых и вентиляционных труб, которую приходится созерцать там из окон, искусственная, возбуждающая среда, сидячая жизнь, неподвижность, почти

обязательная во всем, — начиная с занятий и кончая развлечениями, — все как будто нарочно соединяется, чтобы самым разрушительным образом действовать на здоровье.

Кроме того, в Париже невольно заражаешься способностью волноваться по пустякам — способностью, составляющей как бы отличительную черту всех жителей больших городов. Впечатления сменяются слишком быстро, жизнь кипит, как в котле, и кончается тем, что в этой вечной сутолоке человек утрачивает значительную часть своей индивидуальности. Внимание постоянно останавливается на мелочах, и именно потому, что в этом стремительном потоке впечатлений трудно разобраться: вы легко подчиняетесь влиянию рутины. Прибавьте к этому, что в больших городах сам труд принимает какой-то лихорадочный, нездоровый оттенок. Чтобы убедиться, как вредно отзывается на душевном состоянии работника (я говорю о людях, занимающихся умственным трудом) раздражающее влияние такой обстановки, стоит только прочесть весьма поучительное и отличающееся большой искренностью исследование Жюль Гюрэ («Enquete sur l'evolution litteraire». Hachette, 1891). Вы поймете тогда, как действует соприкосновение с этой средой изнервничавшихся людей; вы поймете, что такое все эти столкновения самолюбий, эта взаимная зависть, и пожалеете бедных молодых литераторов, не знающих в нашей столице ни минуты покоя и в сущности очень несчастных. Я со своей стороны могу сказать только одно: если для меня совершенно ясно, что, помещаясь где-нибудь на четвертом этаже, в тесной квартире, на людной улице, в самом центре столичного гама, вдали от природы, молодой человек не может не сделаться раздражительным, то я решительно не вижу, почему такое состояние духа должно способствовать его умственному развитию.

Толкуют о развивающем влиянии общества, которое можно иметь только в Париже. Я даже не знаю, стоит ли на это и возражать. Живя в глуши, в деревне, я могу окружить себя обществом величайших современных умов: для этого мне стоит только купить их сочинения. Вся гениальность великих писателей выливается в их творениях; говорить о своих работах, еще не появившихся в печати, они обыкновенно не любят: общество людей — для них отдых, развлечение; вот почему личное общение с великими писателями никогда не принесет молодому человеку той пользы, какую он может извлечь из их сочинений. Есть, правда, одно огромное преимущество личного знакомства с великими людьми: это то, что результаты жизни, исполненной труда ради высоких целей, становятся для нас, так сказать, осязательными, и в энергичном, талантливом молодом человеке такие знакомства могут возбудить чувство благородного соревнования; но счастье знать лично великих людей достается в удел очень немногим.

Единственное преимущество жизни в Париже — преимущество, действительно неоценимое — это эстетическая культура, которую там можно приобрести. Музыка, живопись, скульптура, красноречие — всему этому вы можете заложить солидный фундамент в этом изумительном городе, чего нельзя сказать о большинстве провинциальных городов. Но раз такой

фундамент заложен, то в отношении работы мысли провинция представляет много ресурсов для того, кто хочет ими пользоваться. К тому же жить в деревне — еще не значит быть провинциалом. Можно жить в Париже и все-таки быть провинциалом, ибо быть провинциалом, значит, не иметь никаких серьезных интересов; в таком по крайней мере смысле понимается у нас обыкновенно это название. Провинциал — это человек, не интересующийся ничем, кроме сплетен, — человек, для которого в жизни не существует ничего, кроме сна, еды, питья и наживы; провинциал — это глупец, который не знает других развлечений, кроме карт, сигар и грубых шуток в кругу людей, не превышающих его умственным развитием. Но если молодой человек, живя в провинции, — хотя бы даже в деревне, — понимает и любит природу, если он находится в постоянном общении с величайшими мыслителями мира, то уж конечно он не заслуживает названия провинциала, сделавшегося у нас оскорбительным.

А как удобно во многих отношениях удаление от больших центров! Некоторые писатели сравнивали маленькие города с монастырями. И в самом деле, вы находите там покой и тишину, по истине монастырские. Вы можете следить за своей мыслью без всякой помехи: вас не развлекает окружающая среда. Ум не разбрасывается: вы живете в себе. В этой невозмутимой тишине сравнительно редкие впечатления выигрывают в глубине. Мысль пробуждается мыслью, идеи группируются, следуя закону сродства. Воспоминания оживают, ум развивается спокойно, постепенно, а такое развитие несравненно выше того лихорадочного развития скачками, какое имеет место в больших городах.

Ночь приносит с собой полный отдых, и, просыпаясь, поутру, вы чувствуете прилив энергии, а прогулка в лесу, на чистом воздухе, еще больше подкрепляет ваши силы. Ни раздражительности, ни лихорадочных волнений: спокойное и настойчивое преследование идеи до самых глубоких разветвлений становится делом вполне возможным и легким. Всю работу памяти можно выполнять — и как еще успешно! — где-нибудь в лесу, на лугу, не сгибаясь в три погибели над письменным столом; подгоняемая движением, переполненная кислородом кровь навсегда запечатлевает в мозгу все то, на чем вы останавливаете ваше внимание в эти счастливые минуты. Творческий труд, работа самостоятельной мысли тоже не представляют никаких затруднений: мысли приходят сами собой, группируются легко и свободно; вы возвращаетесь домой с готовым отчетливым планом, с обильным запасом образов и идей, не говоря уже о благотельных последствиях движения на свежем воздухе для вашего здоровья.

Дальнейшие доказательства бесполезны. Не внешние условия создают талант — кто же этого не знает? Развитие идет не от периферии к центру, а от центра к периферии. Внешние условия играют лишь вспомогательную роль: способствуют или противодействуют развитию, и быть может даже менее, чем это обыкновенно полагают. Поэтому делить учащуюся молодежь на живущих и не живущих в Париже не имеет ни малейшего смысла; тут можно установить только две главные категории: категорию молодых людей с

энергичным характером, действующих обдуманно, способных к серьезной работе, и категорию молодых людей со слабой волей, которые не умеют трудиться. Первые — в какую бы среду они ни попали — делают чудеса с самыми ничтожными средствами, и обыкновенно бывает даже так, что их энергия создает нужные средства; вторые — будь у них под рукой хоть пятьдесят библиотек и столько же лабораторий — не делают и никогда не сделают ничего.

3. Мы подошли почти к концу четвертого отдела нашего трактата. Мы начали этот отдел подробным исследованием расплывчатой сентиментальности — душевного состояния, в высшей степени опасного в деле воспитания воли. Мы рассмотрели причины, вызывающие у молодых людей это состояние, и средства для борьбы с ним; затем мы попытались рассеять наивные иллюзии, приводящие молодого человека к таким чудовищным ошибкам в его оценке удовольствий. Нам пришлось остановиться на вопросе о чувственности, на различных формах, которые она принимает, и указать, какими средствами можно бороться против нее. И наконец, попутно, мы разбили те готовые мнения — софизмы, имеющие характер аксиом, которые подсказывает наша лень всем тем, кто не хочет трудиться. До сих пор наша работа была работой разрушения, теперь нам предстоит обратная процедура, т.е. созидание. За размышлениями, так сказать, отрицательными, пример которых мы привели на этих страницах и которые каждый студент должен будет дополнять собственными размышлениями, сообразно своему личному опыту, должны следовать размышления положительного характера, укрепляющие энергию и воздействующие на волю непосредственным образом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Размышления, укрепляющие волю. Радости труда

1. Нет мысли безотраднее, как мысль о скоротечности человеческой жизни. Видишь, как безвозвратно уходят часы, дни, месяцы, годы. Чувствуешь, как это движение быстро несет тебя к могиле. Человек, расточающий свое время на преследование ничтожных целей, человек, который не создает ничего прочного, что отмечало бы пройденный путь, испытывает, оглядываясь назад, очень странное чувство: прошедшие годы оставляют по себе воспоминание только тогда, когда они были наполнены производительным трудом, — и вот эти-то прошедшие годы кажутся ему пустыми. Прожитая жизнь сводится к нулю в его сознании, и в душе его возникает непреодолимое ощущение, что все его прошлое было лишь сном — пустым и бесплодным.

С другой стороны, когда жизненный путь теряет для такого человека интерес новизны, когда житейские невзгоды покажут ему всю ограниченность его сил, когда он ясно сознает, что в будущем его ожидает то же самое однообразие, которое так надоело ему в настоящем, — годы начинают лететь для него еще быстрее, и к гнетущему ощущению, что прошлое было лишь сном, присоединяется другое, еще более тяжелое, что и настоящее — не более, как сон. Для тех, кто не умеет — наперекор неотвратимым требованиям органической жизни, наперекор своей лени, обязанностям профессии и общественных отношений — отвоевать в свою полную собственность известное число часов на размышление — лучших часов в своей жизни, этот сон имеет в себе даже нечто трагически пассивное: быстрый поезд уносит их с собой, как арестантов, помимо их воли.

Человек мыслящий мчится к могиле не менее быстро, но он знает, что всякое сопротивление бесполезно: он свободен, потому что примирился с неизбежным. Но он старается по крайней мере удлинить, насколько возможно, свое короткое странствие и достигает этого тем, что не дает своему прошлому исчезнуть бесследно. Он знает, что для тех, чей жизненный путь не оставляет следов, ощущение эфемерности человеческого события становится невыносимым. Он знает, что это чувство неизбежно для празднолюбцев, для «светских людей», для большинства политических деятелей, чья жизнь проходит в ненужных никому занятиях, в преследовании ничтожных, мелких целей, — одним словом, для всех тех, чей труд не дает осязательных результатов.

Освободиться от этого убийственного, гнетущего чувства мы можем только тогда, когда вся наша жизнь, все наши усилия посвящены служению какой-нибудь руководящей идее, которую мы стараемся осуществить. Тогда мы испытываем противоположное чувство — чувство реальности нашего существования. Живое и сильное у земледельца, каждое усилие которого оставляет видимые следы, это чувство достигает высшего своего развития у писателя, проникнутого значением своей общественной роли. Каждый день

прибавляет для него что-нибудь новое к осязательным результатам вчерашнего дня. Кончается тем, что его жизнь до известной степени отождествляется с его творениями и как бы заимствует у них частицу их конкретной реальности. Таким образом, жизнь человека труда оказывается в буквальном смысле реальнее и полнее жизни празднотлюбца. Привычная праздность превращает наше существование в бесплодный, жалкий сон. Только спокойный, бодрый и производительный труд придает вкус нашей жизни. Только труд может урегулировать, сделать привычным и удешевить то живое, жизнерадостное, полное ощущение, которое зовется «чувством бытия» и которого празднотлюбец никогда не узнает.

И если бы даже трудовая жизнь работника мысли не была сама по себе живым источником радости, которую дает только труд, то и тогда она была бы без всякого сравнения привлекательнее жизни лентяя. Уже по одному тому, что труд избавляет человека от бесцельной, утомительной сутолоки, от мелких забот, от удручающей, невыносимой скуки — неизбежного спутника праздности, он делает его существование положительно завидным. «Когда я жил в Маере, — говорит Дарвин, — мое здоровье было плохо, и я лентяйничал скандальнейшим образом; у меня осталось от этого времени такое впечатление, что на свете нет ничего мучительнее праздности». «Когда солдат или крестьянин жалуются на труд, который им приходится нести, заставьте их ничего не делать», — сказал Паскаль. Да, празднотлюбец — сам себе палач, и абсолютная физическая и умственная праздность неизбежно порождает тяжелую, гнетущую скуку. Большинство богатых людей, избавленных судьбой от благотворной необходимости трудиться и не имея энергии ни поставить себе определенную цель, ни приняться за ее осуществление, хорошо знакомы с этим мучительным чувством. Эти несчастные с головой погружаются в сплин, повсюду влачат за собой свою скуку или ищут разнообразия в чувственных наслаждениях, которые очень скоро приводят их к пресыщению и в результате удваивают их страдания.

Но абсолютная праздность встречается редко, и, по пословице, «дьявол придумает работу тому, у кого ее нет». Когда для человека не существует возвышенных целей, его умом неизбежно овладевают мелкие интересы. У кого нет серьезного дела, тому всегда довольно времени на бесконечное пережевывание мелких дразг и обид, а это занятие не только не может служить пищей уму, но, напротив, убивает его. Сила чувства, — коль скоро она не направлена по чистому руслу лучшей стороны нашей природы, которое она могла бы оплодотворить, — изливается по сточным канавам нашего животного естества и грязнится. Булавочные уколы самолюбия разрастаются в язвы; неизбежные в жизни маленькие житейские невзгоды отравляют существование, отнимают сон. Да, не красна вблизи безмятежная доля вельможи, которой мы завидуем. Для праздных людей даже удовольствия становятся тяжелой повинностью, теряют всю свою соль, весь аромат, ибо для человека удовольствие неразлучно с трудом. Праздность отзывается даже на физиологических направлениях: замедляет работу питания, кровообращения и подрывает здоровье. Что же касается умственной деятельности, то

отличительные ее черты в этом состоянии — смутность мысли и бесплодное, утомительное пережевывание мелочей. Ум сам себя гложет, по энергическому пародному выражению. А уж о деятельности воли нечего и говорить: стоит только вспомнить, как быстро она атрофируется у праздных людей: всякое усилие становится до такой степени мучительным, что празднотлюбца ухитряется видеть страдание там, где человек деятельный не подозревает даже и возможности страдания. Какой разительный контраст представляет это состояние с жизнью человека труда! Труд есть непрерывная, длящаяся форма усилия, вследствие чего он служит превосходным средством воспитания воли, и умственный труд более, чем всякий другой, ибо почти все виды физического ручного труда могут уживаться с почти абсолютной разбросанностью мысли. Напротив того, умственный труд предполагает не только физическую дисциплину — повиновение тела, скованного, так сказать, силой внимания, но и дисциплину мыслей и чувств. И если эта диктаторская власть воли над мыслью не сменяется периодами полного изнеможения вследствие усталости, если мы умеем беречь свои силы и пользуемся ими экономно, прилагая свою энергию в уменьшенном, хотя и достаточном объеме, в те долгие часы, которые не могут быть отданы умственному труду, то наше высшее «я» выработает привычку к постоянному бодрствованию, контроль над собой станет для нас самым естественным делом; и так как весь секрет человеческого счастья в умении руководить своими мыслями и чувствами, то косвенный путь настойчивого труда приведет к открытию философского камня человеческой жизни, который есть счастье.

Во всяком случае нельзя не пожалеть, что наша разговорная речь — создание пошлой толпы — со словом труд соединила представление об усталости и страдании, между тем как психология доказала с полнейшей очевидностью, что всякое усилие сопровождается удовольствием, если только затрата сил не превышает того количества энергии, какое может выработать нормальная и правильная работа питания. Монтэнъ делает следующее замечание по поводу добродетели: «Основной признак мудрости — непрерывная радость... ясность духа — всегдашнее ее состояние... добродетель обитает не на вершине высокой горы, изрезанной оврагами, скалистой и неприступной; напротив: все те, кто к ней приближался, находили ее в прекрасной, плодоносной и цветущей долине... Да, к добродетели можно подойти, — если знаешь, где ее искать, — тенистой, зеленеющей, сладко благоухающей дорогой... и только потому, что мы не знаем высшей добродетели — прекрасной, торжествующей, любовной, столько же мужественной, сколько и улаждающей чувства, той добродетели, которая есть исконный и непримиримый враг всего неприятного, всякого неудовольствия, страха и принуждения ... мы подменили ее жалким ее подобием — глупой и скучной фигурой с грозным, сварливым, отталкивающим лицом — и поставили эту фигуру в стороне от жизни, на неприступный, усеянный Лпирами терновника, утес в виде привидения, которое пугает людей». То, что Монтэнъ говорит о добродетели, он мог бы сказать об умственном труде. Молодежь никогда не научится вполне

понимать истинный характер умственного труда, который, как и добродетель, можно назвать «прекрасным, торжествующим, сладко благоухающим, улаждающим чувства, исконным и непримиримым врагом всего неприятного».

Ибо счастье, которое приносит нам труд, отнюдь не исключительно отрицательное. Действие труда выражается не только в том, что жизнь не теряет для нас своей сладости, не превращается в тяжелый сон, лишенный всякого реального содержания, что ум не отдается во власть мелким дрызгам и микроскопическим интересам: нет, помимо всего этого, труд и сам по себе, по самой своей сущности, — потому что он дает все новые и новые осязательные результаты, — является живым источником счастья.

Прямое действие труда выражается в том, что он высоко возносит нас над пошлостью, дает нам возможность чувствовать себя на правах полнейшего равенства и очаровательной близости с величайшими и благороднейшими умами всех времен, и этим самым постоянно возобновляет для нас источники интереса. Тогда как празднотворец нуждается в обществе, очень часто в обществе людей гораздо ниже себя, человек умственного труда довольствуется собой. Невозможность удовлетвориться 256 собой ставит первого в зависимость от других, заставляет его подчиняться бесчисленным стеснениям, которых последний не знает, и если мы скажем, что «труд — это свобода», наши слова не будут метафорой. Эпитет делит явления на зависящие и независящие от нас. Он говорит, что все наши страдания и разочарования происходят от того, что мы гонимся за тем, что не зависит от нас. Таким образом, счастье праздных людей зависит исключительно от других; о человеке же, для которого труд сделался делом привычным, можно сказать, что величайшие свои радости он обретает в себе самом.

Кроме того, последовательный ряд уходящих в вечность дней, отмечающих для праздных людей только ускользание пустой, бесплодной жизни, приносит все новые и новые вклады в сокровищницу знаний трудящегося юноши, увеличивая его богатство медленно, но верно, и подобно тому, как рост некоторых растений может быть измерен к концу каждого дня, — молодой человек в конце каждой недели упорного труда может с точностью измерить, насколько развился его ум. Этот медленный, но непрерывный прирост умственных сил приведет его в конце концов на очень высокую ступень интеллектуального развития. А так как после нравственного величия нет ничего, что бы сияло так ярко, как развитой, вполне культивированный ум, то между тем, как праздные люди с годами глупеют, человек умственного труда наслаждается сознанием, что авторитет его в глазах окружающих с каждым годом растет.

И что же получается в результате? С приближением старости, когда чувственные наслаждения становятся недоступны, когда все чисто эгоистические стремления, не получая удовлетворения, приводят нас к жестоким разочарованиям, — для человека, обогатившего свой ум широкой, гуманной культурой, радости жизни удесятятся. Ни один из источников

истинного счастья не может иссякнуть: интерес к науке, литературе, любовь к природе, к человечеству не уменьшаются с годами. Напротив. То, что сказал Кинэ, всегда останется верным: «Когда пришла старость, я нашел ее совсем не такой безотрадной, как вы мне предсказывали. Годы, о которых вы говорили, как о годах величайшей скорби и отчаяния, были для меня слаще годов юности... Я ожидал увидеть голую, ледяную, окутанную туманом вершину, и вместо этого увидел кругом широкий горизонт, впервые открывшийся моим взорам. Я видел яснее и в себе самом, и во всем окружающем»... И дальше: «Вы говорите, что чувства притупляются по мере того, как живешь. А я так твердо чувствую, что, проживи я хоть сто лет, я никогда не привыкну к тому, что возмущает меня в эту минуту».

Итак, жизнь работника мысли — самая счастливая жизнь. Труд не лишает человека ни одного из истинных удовольствий. Один только труд дает нам чувствовать вполне реальность нашего существования, уничтожая мучительное ощущение, — неизбежное для праздных людей, — что жизнь ничего больше, как сон, пустой и бессвязный. Труд избавляет нас от самого презренного рабства — от рабства мысли, которое делает человека игрушкой внешних обстоятельств; не дает нам предаваться низменным мыслям и мелочным интересам. В придачу к этим косвенным дарам, умственный труд награждает нас и другими: он закаляет нашу волю — источник всякого прочного счастья, делает нас обитателями страны света и разума, населенной избранниками человечества, и, наконец, дарит нам счастливую, окруженную почетом и уважением, старость. Но благодеяния труда этим не исчерпываются: помимо тех высших духовных и интеллектуальных радостей, о которых мы уже говорили, он приводит нас окольной дорогой и к самым сладостным из эгоистических наслаждений: он дает нам чувство удовлетворенной гордости в сознании нашего превосходства и авторитета, который мы приобретаем в глазах окружающих. Таким образом, все то, что посредственность думает найти в показной роскоши, в богатстве, в почестях, в политической власти, — все то, чего она ищет часто безуспешно, а если и находит, то всегда с примесью горечи, — все это человек умственного труда находит не ища, между прочим, в виде надбавки к богатым дарам высших человеческих радостей, которыми осыпают его справедливые законы природы.

2. Ясно, что вышеприведенные размышления, как отрицательные, так и положительные, т.е. имеющие целью укрепить в нас благие намерения, не могут представлять чего-нибудь законченного; все это только наброски, и притом весьма не полные, — наброски, которые каждый должен будет дополнить собственными мыслями — результатами чтения и личного опыта*. Основное правило для этого рода размышлений: никогда не останавливаться лишь мельком на таких идеях и чувствах, которые могут усилить в нас отвращение к праздности или окрылить новой энергией наши благие намерения, а делать это всегда основательно. Необходимо (как было сказано выше), чтобы каждое полезное соображение «продистиллировалось» в нашей

душе, проникло ее до самой глубины и породило в ней живое чувство симпатии или отвращения.

До сих пор, говоря о том, что может помочь нам в деле самовоспитания, мы касались только внутренних наших ресурсов в этом отношении. Теперь нам остается перейти к внешнему миру, к среде — в самом широком значении этого слова, и проследить, на какие вспомогательные ресурсы с этой стороны может рассчитывать молодой человек, желающий дополнить воспитание своей воли.

Отдел V

Вспомогательные ресурсы, которые дает нам среда

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Общественное мнение, профессора и т.д.

1. До сих пор мы касались исследуемого нами предмета исключительно с внутренней его стороны, как бы предполагая, что в деле самовоспитания, воспитания в себе воли, человек является совершенно изолированным и должен довольствоваться собственными ресурсами, не рассчитывая на поддержку общественной среды.

Но будь мы действительно до такой степени изолированы, будь мы предоставлены исключительно нашей личной энергии, мы бы не замедлили сложить оружие перед трудностью предстоящей борьбы, ибо ясно, - что если стремление к самосовершенствованию должно по необходимости вытекать из самой сущности нашей нравственной природы, то все-таки без поддержки могущественных социальных чувств оно всегда останется бессильным.

В действительности мы никогда не бываем предоставлены исключительно нашим личным ресурсам: семья, ближайшая общественная среда (знакомые, земляки: согорожане или односельчане) поддерживают нас в наших усилиях своим одобрением; привязанность к нам и симпатии близких людей удваиваются, раз мы достигли успеха на более широкой арене, заслужив одобрение публики.

Ничто великое в мире не совершается без продолжительных усилий, а никакое усилие не может длиться месяцами и годами, если общественное мнение не гальванизирует нашей энергии. Даже те, кто открыто идет против мнения большинства, черпают силы для этой борьбы в горячем сочувствии меньшинства. Но идти одному против всех, бороться годами без всякой поддержки — это выше человеческих сил, и я не знаю подобных примеров.

Бэн, беседуя с Миллем по поводу энергии, сказал, что сильная энергия всегда имеет своим источником одно из двух: или необычайную силу характера, или внешний стимул, действующий на человека, как сильное возбуждающее. Милль отвечал на это: «There: stimulation is what people never sufficiently allow for»*. Действительно, общественное мнение — очень сильный стимул, и если ничто и никто ему не противодействует, оно достигает невероятной степени силы. В Афинах всеобщее преклонение перед физической силой и литературным гением создало, несмотря на незначительность территории государства, такое множество атлетов, поэтов и философов, какого не создавала ни одна страна. В Лакедемонне желание общественных похвал выработало целую расу людей необычайной силы характера. Кто не читал истории спартанского мальчика (в общем, довольно

правдоподобной), спрятавшего за пазуху украденную лисицу и не выдавшего своей тайны, несмотря на жестокую боль, так как лисица прогрызла ему живот? Пусть нам не говорят, что пример спартанцев — исключительный пример: такие примеры мы видим и теперь, и даже у самых низших образчиков человеческой расы. Известно, что краснокожие выносят самые жестокие пытки, только чтобы не дать торжествовать своим врагам, и что многие преступники со стоическим мужеством идут на эшафот из боязни показаться малодушными. А в нашем современном обществе? Разве целое сословие коммерсантов, банкиров, крупных промышленников не мирится с самыми отталкивающими занятиями даже не ради того, чтобы обеспечить себе независимость, а просто из глупого тщеславия, из желания щегольнуть своей роскошью, затмить, поразить, превзойти? Огромное большинство людей руководствуется оценкой общественного мнения во всех своих суждениях. Общественное мнение не только надувает паруса, приводящие в движение нашу ладью, но правит и рулем, лишая нас голоса даже в выборе пути и оставляя нам чисто пассивную роль.

Сила общественного мнения так велика, что мы не выносим никаких проявлений презрения по отношению к себе даже со стороны незнакомых нам лиц, даже со стороны людей, которых мы имеем основание презирать. Всякий преподаватель гимнастики хорошо знает, какие чудеса ловкости может проявить молодой человек в присутствии посторонних. То же самое наблюдается в школах плавания и на льду, когда учатся бегать на коньках: когда вы чувствуете, что на вас смотрят, ваша смелость удваивается. Да наконец, чтобы вполне оценить всю силу чужого мнения, стоит только представить себе, каким страданием было бы для каждого из нас прогуляться в лохмотьях или вообще в смешном костюме по улицам даже незнакомого нам города, — я уже не говорю по улице, где мы живем и где всякий нас знает. Страдания, которые испытывает женщина, когда ей приходится ходить в старомодном платье, показывают, что значит для нас чужое мнение. Я отлично помню, какое мучительное ощущение я испытал однажды в ранней молодости, лет двадцать тому назад (я был еще в коллеже), когда мне пришлось выйти на улицу в форменном мундире с заплаткой на локте, такой микроскопической, что, наверное, никто, кроме меня, ее и не заметил.

И вот эту-то страшную деспотическую власть общественного мнения, выражающуюся в мельчайших наших поступках, нам не приходит в голову сознательно обратить во благо себе: мы не утилизируем этой силы, даем ей пропадать бесполезно.

В коллеже давление на ребенка общественного мнения (мнения товарищей, учителей и родителей) очень велико, потому что все эти отдельные силы бьют в одну точку. И надо еще заметить, что в коллеже союзное действие этих сил касается только умственного труда, и даже в этом отношении мнение товарищей отличается некоторыми особенностями. В средних учебных заведениях между воспитанниками установилось известного рода презрительное отношение к так называемым зубряжкам: восхищение вызывают только легкие, так сказать, изящные успехи, вырастающие как бы

сами собой, благодаря плодородию почвы. В этом сказывается капитальная ошибка нашей системы воспитания, жертвующей умственному развитию развитием воли. Но все же, говоря вообще, тройное влияние — родных, наставников и товарищей — сливается здесь в одно общее течение значительной силы. Поэтому в коллежах и лицеях добиваются поразительных успехов от молодых людей, о которых можно с уверенностью сказать, что они начнут бить баклуши, как только будут предоставлены самим себе.

Кроме того, в средних учебных заведениях общественное мнение каждую неделю напоминает о себе такими вещественными знаками, как первые награды за сочинения, отметки, которые читаются в классе, выговоры или похвалы учителей в присутствии товарищей. Можно даже сказать, что у нас слишком усердно обращаются к эгоистическим чувствам воспитанников — к чувству соревнования, к желанию похвал, и слишком мало принимают в расчет чувство долга. Живое наслаждение, которое приносит нам сознание нашей возрастающей умственной силы, — сознание, что мы становимся лучше, бесчисленные радости, которыми одаривает нас труд, и непосредственно, сам по себе, и по своим последствиям, — на все это недостаточно обращается внимание юноши. Вместо того, чтобы учить его плавать самостоятельно, его обматывают пробковыми поясами, и это для него тем вреднее, что, попадая в университет, он разом оказывается один на полной своей воле. Родные далеко, профессора высоко. Все прежние влияния заменены одним: мыслью о будущем, весьма смутной, и даже это влияние в конце концов сводится на нет, благодаря примеру старших, окончивших курс без особенных стараний со своей стороны. Приближение экзаменов вызывает минутное напряжение энергии, отдельные мимолетные усилия, всегда беспорядочные, которые только загромождают фактами память, но не дают здоровой пищи уму.

Казалось бы, студент может найти поддержку во мнении товарищей. К несчастью, как мы уже видели, это мнение немногого стоит: говоря вообще, в студенческих кружках прославляется (по крайней мере на словах) все, что угодно. — только не труд. Если молодой человек, чтобы поступать честно и разумно, нуждается в таких стимулах, как похвалы других молодых людей, он может рассчитывать разве что на поддержку маленькой группы из двух-трех человек, старательно выбранных из числа остальных. Студенту, который решился сделать из своей жизни что-нибудь получше изображения в лицах песен Беранже или стихотворений Альфреда Мюссэ, всегда легко, если он захочет, может найти и даже создать себе благоприятную для своих целей среду. Из наших лицеев выходит немало молодых людей с высокими стремлениями. Но, как говорит Милль: «Благородство чувств у многих натур — растение нежное, которое вянет от враждебных влияний... у большинства молодых людей это растение погибает очень легко, если только род их занятий и общество, в которое они попадают, не благоприятствуют проявлению благородных свойств их натуры... человек утрачивает свои благородные стремления, как утрачивает интеллектуальные вкусы, потому

что у него нет времени или желания их культивировать, и предается низменным удовольствиям не потому, чтобы они ему нравились, а потому, что эти удовольствия — единственные, легко достижимые, и скоро они сделаются единственными, которых он будет способен искать (Утилитарианизм)».

Таким образом, низкий нравственный уровень студенческой массы является одной из серьезных причин, затрудняющих воспитание воли, и для молодого человека, задающегося более или менее высокими целями, лучший выход из этого затруднения — это подобрать себе трех-четырех товарищей по душе или примкнуть к уже образовавшемуся кружку студентов, решившихся работать сообща в интересах саморазвития.

Вот где профессора могли бы играть огромную роль, если бы они понимали всю серьезность своей задачи и сознавали, каким авторитетом они могли бы быть для студентов. К сожалению, благодаря господствующим заблуждениям по вопросу о значении высшего образования, большинство из них не понимает своих обязанностей. Все говорят и повторяют, что обязанности университетского профессора существенно разнятся от обязанностей преподавателя лицея. По установившемуся мнению, последний — прежде всего воспитатель, а первый — ученый. Дело последнего — влиять на детскую душу, вылепить ее по готовому образцу, если хватит умения, тогда как отличительным признаком первого должна быть невозмутимая безучастность изыскателя, которому дорога только истина.

Я нахожу это воззрение положительно чудовищным. Начать с того, что оно принимает за доказанные невозможные положения: оно предполагает, что профессор — ученый, у которого нет других обязанностей, кроме его обязанностей по отношению к науке. Такое положение можно было бы допустить, если бы профессора жили исключительно наукой, своими открытиями, если бы они были изолированы от мира в своих лабораториях или рабочих кабинетах.

Но дело стоит не так. Профессор, несмотря на свое высокое звание, каждый месяц является в казначейство за жалованием. Этот незначительный акт, почти не требующий времени и возобновляемый всего двенадцать раз в год, делает, однако, то, что ученый стушевывается и на первый план выступает профессор, на котором лежат обязанности не только по отношению к науке, но и к учащимся, студентам.

Чтобы вполне уяснить себе эти обязанности, надо знать, что чувствует молодой человек, поступая в университет; надо изучить его душевное состояние. И я думаю, что я его изучил. Материалом мне послужили в этом случае, во-первых, личный опыт, беспристрастная оценка моих собственных чувств в первые дни моего студенчества; во-вторых, письма моих бывших товарищей — письма, в которых все они жалуются на одно и то же; затем ответные письма нынешних студентов к их товарищам, пославшим им, по моей просьбе, целый ряд искусно замаскированных вопросных пунктов, и наконец признания некоторых студентов мне лично, частью вызванные мною

самим в дружеской беседе, частью вырвавшиеся сами собой в приливе откровенности, частью высказанные в простоте души в двух-трех наивных, но характерных для зоркого наблюдателя словах.

Что же чувствует молодой человек, поступая в университет? Вот его душевное состояние в главных чертах: в течение первых недель новоиспеченный студент испытывает опьянение вроде того, какое овладевает арестантом, только что выпущенным из тюрьмы. Это состояние, так сказать, отрицательное: человек чувствует, что он освободился от пут. Почти каждый молодой человек ощущает в это время потребность закрепить свою свободу в собственных глазах, заявляя о себе шумом и гамом и ночными заседаниями по пивным и в других подобных местах. С какою гордостью хвастается он на другой день, что вернулся домой в два часа утра!... Большинство молодых людей с мелкой натурой, — безвольных, — будут продолжать эту глупую, утомительную и бесплодную жизнь за все время своего студенчества. Но избранные натуры скоро опомнятся. Большую роль в этом случае играет и недостаток денежных средств: студенту-бедняку приходится поневоле скоро расстаться с таким образом жизни, порвать с кутилами-товарищами, и вот, под влиянием этой благодетельной задержки, во многих хороших, хотя и слабых натурах, просыпаются более высокие стремления. Таковы две единственные категории студентов, заслуживающие интереса своих наставников, и — благодарение Богу — они оставляют весьма утешительный по своим размерам процент.

Когда же, попривыкнув к своей свободе и опомнившись от опьянения первых недель, молодой человек оглянется на себя, он почувствует себя страшно одиноким. Это случается почти со всеми. Многие ясно видят, чего им недостает. В этом возрасте потребность тесного единения с людьми во имя высоких нравственных идеалов бывает так велика, что молодой человек инстинктивно ищет друзей, которые могли бы разделить его стремления и взгляды. Как мы уже говорили, образование маленьких студенческих групп не представляло бы никаких затруднений, если бы все молодые люди с разумным направлением решительно восстали против тирании мнения большинства, которое заставляет их казаться тем, чем в глубине души они стараются не быть. Как много молодых людей, которые просто из робости, оттого, что у них не хватает нравственного мужества, повторяют ходячие формулы, глубоко чувствуя всю их фальшь, высказывают пошлые взгляды на жизнь, которых не разделяют, напускают на себя грубость, которая вначале претит им самим, но к которой они, к сожалению, привыкают.

Но студенческая группа, будучи союзом равных, не дает молодому человеку всего, что ему нужно, если только кто-нибудь из товарищей, входящих в состав каждой группы, не обладает выдающейся нравственной силой, что в этом возрасте невозможно. Молодежь ощущает потребность в более сильной поддержке, в личном поощрении, которое шло бы сверху. Эта потребность в высокой степени свойственна человеческой природе, и католическая церковь удовлетворяет ей тем, что дает человеку руководителя совести. Ничего подобного нет у студента: здесь полный заброс. И видя, как

преклоняется молодежь перед профессорами, которых она уважает; испытав всю силу веры, на какую она способна, если человек хоть сколько-нибудь заслуживает этой веры своими дарованиями, нельзя не скорбеть душой, когда подумаешь, что руководители молодежи не извлекают никакой пользы из этого чувства. Профессор едва знает в лицо своих студентов, ровно ничего не знает ни об их прошлом, ни об их семьях, ни о том, чего они хотят, к чему стремятся, как мечтают устроить свое будущее. Если бы он только подозревал, какое влияние могло бы иметь каждое его слово! Если бы он захотел подумать, как действует на нас в двадцать лет, в эту благословенную пору жизни, слово поощрения, добрый совет или даже дружеский упрек человека, которого мы уважаем! Если бы университеты, при той высокой нравственной культуре и глубине научных сведений, которые они дают, позаимствовались у католической церкви всем тем, что подсказало этому изумительному учреждению глубокое знание человеческого сердца, они руководили бы совестью молодежи, царили бы в ней безраздельно. Когда подумаешь, что сделали для величия Германии Фихте и немецкие профессора, хотя они и не были знакомы с психологией, — сделали только благодаря своему полному единомыслию и личному воздействию на студентов, — становится больно за нашу молодежь, для которой не делается ровно ничего. А между тем с нашими студентами можно бы создать не такое движение, а в десять раз сильнее. Взгляните, что сделал во Франции один энергичный человек, ясно понимавший, к чему он стремится, и как он это сделал. Он начал с того, что сплотил воедино студентов. Затем, когда образовалось несколько студенческих групп, ему довольно было объяснить в точных и ясных выражениях, какую международную задачу должна себе поставить французская молодежь, чтобы эти слова, произнесенные человеком, которого любили студенты, притянули к себе, как сильный магнит, и направили в одну сторону бесчисленные отдельные силы, которые до тех пор находились в состоянии анархии и, противодействуя друг другу, взаимно уничтожались. Если бы то, что сделал Лависс по отдельному вопросу и для всей студенческой массы, каждый профессор делал частным образом для лучших из своих студентов, для избранных, то результаты такого порядка вещей превзошли бы все ожидания. Корпорация профессоров создала бы в стране аристократию, о которой было сказано выше, — аристократию сильных характеров, которой были бы по плечу самые высокие задачи.

2. Второй неверный постулат, принимаемый сложившимся у нас представлением о высшем образовании, заключается в отождествлении эрудиции с наукой. Студенты жалуются, что им приходится поглощать страшную массу неудобоваримого материала; жалуются и на то, что у них нет привычки к систематическому, правильно организованному труду. Обе эти жалобы сводятся в одно. Если у студентов нет привычки к систематическому труду, то в этом виновата нелепая система преподавания. У нас как будто принимается за аксиому, что, раз молодой человек вышел из университета, он уже больше не будет работать, из чего следует, что пока он еще в наших руках, мы льем в него, «как в воронку», все знания, какие он только в состоянии

вместить. Мы требуем от его памяти сверхчеловеческих усилий. Зато и результаты выходят хорошие. Большинству молодежи наша наука набивает оскомину на всю жизнь. Кроме того, эта прекрасная система предполагает, что все, что мы когда-нибудь учили, остается у нас в памяти навсегда, как будто неизвестно, что человек запоминает надолго только то, что закрепляется в его памяти частым повторением, и как будто частое повторение может распространиться на всю энциклопедию скучных до омерзения фактов!

Бесполезно впрочем обсуждать шаг за шагом все неудобства университетского преподавания в его теперешнем виде, т.е. такого, каким его сделало неверное представление о цели экзаменов. Достаточно найти замочный камень свода, которым держится вся система. Этот камень — наши ошибочные представления о науке, о том, в чем задача и каковы должны быть основные качества истинного ученого, «изыскателя», и наконец, ошибочные представления о способе передачи знаний учащимся. Германия наделала нам много зла, заразив нас своими ложными взглядами на все эти вопросы. Нет, эрудиция — не наука: скорее отрицание науки, сказали бы мне. При слове «наука» в нашем сознании возникает представление о накоплении сведений, тогда как по-настоящему это слово должно бы вызывать представление о сильном и смелом уме, богатом инициативой, но в высшей степени осторожном в проверке своих выводов. О большинстве первоклассных ученых — людей, которым принадлежат великие открытия, — можно сказать, что по части фактических сведений они гораздо невежественнее своих учеников. Человек даже не может быть настоящим ученым, если ум его загроможден фактами: только неутомимая работа мысли в одном определенном направлении приводит к открытиям. В отделе первом (глава 2) мы привели знаменитый ответ Ньютона на вопрос о том, в чем заключается секрет плодотворности его метода. Мы видели также, как Дарвин позволял себе читать только то, что имело прямое отношение к предмету его размышлений, и как в течение почти тридцатилетнего периода времени его лю-

272 бознательный ум выискивал по части фактов все, что только могло войти в состав живого организма, каким является его теория. Сила, глубина и бесконечно терпеливая настойчивость мысли, непрестанно бодрствующий критический ум — вот что создает великих ученых. А чтобы поддержать это терпение, это внимание, направленное к одной определенной цели, необходима горячая и глубокая любовь к истине.

Эрудиция не только ничему не помогает, но, напротив, обременяет ум, загромождая память мелкими фактами. Высший ум все, что только возможно, хранит не в памяти, а в заметках: он не желает быть живым лексиконом; такая честь его не соблазняет. Он старается выделить и никогда не упускает из вида руководящую идею своих изысканий. Каждый свой вывод он подвергает строгой критической проверке: если новая мысль выдержала испытание, он ее принимает и предоставляет ей медленно развиваться и крепнуть. Он любит свои выводы, и, оживленные этой любовью, они перестают быть в его сознании пассивными, мертвыми идеями и становятся

силой — могучей и активной. С этой минуты идея, подсказанная вначале изучением фактов, начинает в свою очередь организовывать факты. Как магнит притягивает железные опилки и заставляет их группироваться правильными фигурами, так и идея водворяет порядок среди беспорядка, создает произведение искусства из хаоса, — из груды сырого материала воздвигает здание. Неважные на первый взгляд факты, будучи освещены руководящей идеей, получают значение и занимают видное место, а все ненужное, загромождающее память, выбрасывается за борт, как лишний балласт. Человек, которому посчастливилось таким образом основательно проверить несколько новых идей, могущих стать двигателями организации фактов, — великий человек.

Итак, степень учености измеряется не количеством собранных фактов. Истинная ученость не в фактических знаниях, а в энергичной, пытливой и, если можно так выразиться, предприимчивой мысли, постоянно проверяющей себя строгим критическим анализом. Количество фактов неважно: все дело в их качестве, о чем, — как это доказывает наша система высшего образования, — мы совершенно забываем. Развитие силы суждения, смелости и вместе с тем осторожности мысли — всем этим у нас пренебрегают: молодых людей обременяют массой сведений весьма неравных степеней ценности, усиленно развивают одну только память и упускают из вида главное, иначе говоря (я никогда не устану это повторять), — дух инициативы, соединенный с систематическим сомнением.

Заметьте, что при существующем порядке вещей экзамены облегчены до последней степени как для учащихся, так и для учащихся. — Студент добросовестно набивает свою голову фактами и на этом успокаивается, утешая себя иллюзией своей учености. Что же до экзаменатора, то для него гораздо легче определить, знает ли студент то-то или то-то, чем оценить, чего он стоит по своему интеллектуальному развитию. Экзамен превращается в лотерею. Желающих удостовериться, насколько это справедливо, отсылаем к чудовищной программе первого курса медицины, к выпускным программам по естественным наукам и истории, не говоря уже о большинстве программ магистерских экзаменов. Загляните в эти программы, и вас поразит, до какой степени все они пропитаны губительным поползновением превратить высшее образование в специальную культуру памяти.

* Буквально: «трусить рысцой перед ним».

Итак, университетский курс той или иной науки — далеко не лучшее из того, что может дать студенту профессор, и надо, чтобы профессора это знали. По необходимости, отрывочное и не имеющее связи с курсами других профессоров прохождение университетского курса само по себе не может принести большой пользы, и для молодого человека с минуты его выхода из лица (и даже раньше) самые лучшие лекции в мире не стоят нескольких часов усилия самостоятельной мысли. Практические работы, соприкосновение ученика с учителем — вот что придает высшему образованию его высокую ценность. Уже одним фактом своего присутствия в лаборатории профессор показывает студенту, что работать можно. Он служит

живым, осязательным, конкретным примером того, что может сделать человек при желании. Это с одной стороны. А с другой — беседы профессора со студентами, дружеское поощрение, известная откровенность, советы насчет метода работы, то, наконец, что вам наглядно показывают, как надо работать, и, что еще важнее, поддерживают в вас инициативу в труде. А все эти объяснения по поводу ваших работ в присутствии товарищей, отчеты в коротких и точных словах о прочитанных книгах: когда все это делается под контролем любящего наставника, разве это не важно? Да в этом вся суть, вся благотворная сила высшего образования. Чем профессор блестящее, чем больше он себя заслушивает, чем больше он лезет в глаза, думая помочь студенту своим вмешательством, тем менее доверил бы я ему молодежь. Надо, чтобы профессор заставлял студентов «*trotter devant /и/*»*, как говорит Монтэнь. С чужих слов не научишься работать: слушая профессора в аудитории и этим ограничиваясь, мы никогда не сделаем настоящих успехов в науке, никогда не проникнемся духом науки, как не подвинемся ни на волос в гимнастике, присутствуя на акробатических представлениях.

Итак, мы видим, что две главные болячки учащейся молодежи — отсутствие нравственного руководящего начала и непривычка к систематическому труду — вылечиваются одним и тем же лекарством. Это лекарство — тесное общение профессора со студентом, — общение, в котором сами профессора найдут свою награду. Возбуждая энтузиазм к науке в своих учениках, профессор, во-первых, не замедлит почувствовать, как оживает его собственный энтузиазм, и, во-вторых, без труда убедится, что все великие движения мысли, какие только видел мир, были обязаны своим существованием не передаче знаний, а умению наставника перелить в своих слушателей горячую любовь к истине или к какому-нибудь великому общему делу, и передать им наилучшие методы работы; короче говоря, он убедится, что влияние достигается только непосредственным соприкосновением человека с человеком, души с душой. Так, Сократ передал Платону свой метод и любовь к истине. Этим же объясняется тот факт, что в Германии все великие гении науки вышли из маленьких университетских центров, где между профессорами и студентами существовало то самое тесное духовное общение, о котором мы только что говорили.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Влияние «великих мертвецов»

Коль скоро тесное соприкосновение между учеником и наставником так благотворно влияет на первого, коль скоро ум и воля так сильно закаляются в общении с живыми людьми, то наш студент, — если он не имеет руководителей в лице своих профессоров, если он одинок в этом смысле, — всегда может иметь, хотя и более слабый, но все же хороший суррогат этого личного воздействия. Есть мертвецы, о которых можно сказать, что они более живы и более способны оживлять, чем живые. За невозможностью иметь перед собой говорящие и действующие образцы, ничто не может так верно поддерживать в нас нравственную силу, горячий энтузиазм к истине, как созерцание чистой, простой, высоконравственной жизни героев труда. Эта «армия великих свидетелей» помогает нам в нашей честной борьбе. Поразительно, до чего могут укреплять нашу волю в тиши уединения эти примеры «великих душ лучших времен». «Я помню, — говорит Мишлэ, — как в самый разгар бедствия, среди лишений в настоящем, опасений за будущее, когда неприятель был в двух шагах (в 1814-м году), а мои личные враги не уставали надо мной издеваться, — помню я, как в один прекрасный день — это было утром, в четверг, — я как-то собрался с духом и ободрился: топить было нечем, кругом лежал снег; я даже не был уверен, будет ли к вечеру хлеб; казалось, все для меня кончается, — и вдруг я ощутил в себе стоическую бодрость: я ударил по своему дубовому столу окоченелой от холода рукой, и сердце мое наполнила молодая, бодрая радость, надежда на будущее... Кто же дал мне этот мужественный, здоровый порыв? Те, с кем я жил изо дня в день! — мои любимые авторы. С каждым днем меня все больше влекло к этому великому обществу». Стюарт Милль говорит, что его отец любил давать ему читать описания путешествий и вообще такие книги, где описывались люди с сильным характером, не терявшиеся в борьбе с самыми серьезными затруднениями и умевшие их побеждать (в числе этих книг был и «Робинзон Крузо»); а в другом месте он рассказывает о том, как благотворно действовали на него Платоновские диалоги и книга Тюрго о Кондорсэ. И действительно, такое чтение должно оставлять глубокие и прочные следы. Поразительно влияние героев мысли! Более двух тысяч лет протекло с того дня, когда умер Сократ, но влияние его живо: пример его жизни по-прежнему зажигает чистое пламя энтузиазма в юной душе.

Как жаль, что мы не имеем такой книги, какую имеет католическая церковь в «Житиях святых». Описание жизни святых поборников истины было бы для молодежи драгоценным подспорьем. Какое подавляющее впечатление производит, например, такая жизнь, как жизнь Спинозы! Каким проникаешься восторгом перед этим человеком, читая о нем! Да, нельзя не пожалеть, что мы не имеем сборника биографий великих людей, сборника тех сведений о них, которые рассеяны в разных местах; такая книга была бы вторым «Плутархом», источником, в котором люди умственного труда черпали бы энергию. Принадлежащая О посту Конту идея календаря, где каждый наступающий день наводил бы на размышления о жизни какого-

нибудь благодетеля человечества, была превосходной идеей. В чем же, наконец, задача классического образования, — если понимать его как следует, — как не в том, чтобы поддерживать в душе молодежи спокойный и прочный энтузиазм ко всему великому, благородному и великодушному? И разве нельзя сказать, что классическое образование достигло своей цели, раз оно сделало то, что горсть избранников, проникнутых высоким идеалом, уже не может ему изменить, не может спуститься вновь до уровня посредственности? Чему же обязаны своим превосходством эти избранники — этот священный батальон, на который обращены взоры всего цивилизованного мира, — как не постоянному общению с чистейшими и благороднейшими гениями древности?

Но если общение с «великими мертвецами» и облагораживает наши чувства, если мы черпаем в нем нравственную силу, то, к сожалению, такое общение не может дать нам точных указаний, в которых мы часто нуждаемся, и во всяком случае — повторяю — ничто не может заменить нам вполне того руководящего нравственного начала, какое мы находим в лице опытного и чуткого наставника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предшествующие главы приводят к утешительной мысли, что достигнуть власти над своим «я» было бы легко, если бы общественное воспитание юношества было направлено во всех своих частностях к этой великой цели. Ибо если и нелегка для человека борьба с собственной ленью и чувственностью, то во всяком случае она оказывается возможной, и, при надлежащем знакомстве с нашими психическими ресурсами, мы всегда можем рассчитывать на победу в этой борьбе. Итак, мотивированным заключением предлагаемого читателям труда будет то, что человек всегда может переработать свой характер, воспитать в себе волю, и можно сказать с уверенностью, что при желании время и знание законов человеческой природы помогут нам достигнуть высокой степени власти над собой. Зная, чего достигает католицизм в отношении высших человеческих натур, нетрудно предвидеть, что можно сделать из лучших представителей нашей молодежи. Пусть нам не говорят, что религии откровения располагают такими средствами, каких мы не имеем и не можем иметь. Если разобраться, из чего слагается сила религии, та страшная власть, какую церковь имеет над верными, то окажется, что способы ее воздействия распадаются на две главные категории: к первой относятся способы исключительно человеческого воздействия, ко второй — такие, которые имеют своим источником религиозное чувство.

Способов первой категории насчитывается три. Во-первых, сила авторитета: авторитет умерших великих людей, авторитет епископов, священников, богословов и т.д., а в прежние времена и авторитет государства, предоставлявшего в распоряжение церкви тюрьмы, пытку, костер. К авторитету государства (в наше время значительно ослабевшему) присоединялось еще давление общественного мнения: ненависть, презрение, преследования, которым подвергались неверные со стороны верных. Последний способ человеческого воздействия — воспитание. Религиозное воспитание начинается с детства, а ребенок — это тот же воск, который можно отлить во всякую форму, и религия — путем повторения своих догматов во всевозможных видах, путем чтения, устных поучений, наконец, своими публичными церемониями, проповедями и т.д. делает то, что религиозное чувство проникает в детскую душу до самой сокровенной ее глубины.

Все эти три способа воздействия доступны и нам: мы могли бы пользоваться ими даже шире, чем может это делать религия. Не признается ли великое дело самосовершенствования равно великим и необходимым мыслителями всех направлений? Разве по этому вопросу возможно то разногласие мнений, какое существует по религиозным вопросам? А воспитание детей — разве оно не в наших руках? Разве не могли бы и мы отлить душу ребенка в любую форму по своему произволу? Нам недостает только системы, последовательности, и если бы все мы поняли, чего мы должны добиваться, наша власть была бы громадна. Что же касается

общественного мнения, то переработать его — дело воспитания. Да разве уже и теперь мы не видим зачастую, что общественное мнение преклоняется перед всем истинно великим и благородным? Возвышенные, альтруистические чувства соединяют людей и укрепляются быстрее эгоистических чувств, служащих причиной разлада. Вот почему часто случается, что толпа, состоящая в большинстве из негодяев, рукоплещет всякому правдивому слову. К тому же общественное мнение имеет стадный характер, и достаточно самого ничтожного меньшинства энергичных и честных людей, чтобы направить его на истинный путь. Мы знаем, чего достигли Афины в области красоты и таланта; мы знаем, что сделала Спарта на поприще самоотречения, — кто же после этого осмелится утверждать, что современные общества не сделают того же, имея перед собой еще более высокую цель?

Но — могут нам еще возразить — нравственное самосовершенствование не может быть прочным, если оно не имеет своим основанием религиозного верования. Это мы вполне допускаем, но в то же время мы твердо убеждены, что единственная религиозная истина, без которой нельзя обойтись и которой вполне достаточно, это та истина, что существование вселенной и человека имеет нравственную цель и что никакое усилие в интересах добра не пропадает даром. Мы уже видели*, что нравственный тезис влечет за собой весьма веские доводы; мы видели также, что в конечном итоге нам по необходимости приходится выбирать между этим и противоположным тезисом и что, к какому бы выбору мы ни пришли, он все равно не может быть оправдан экспериментальным путем. А при равенстве последнего условия всегда предпочтительнее выбрать то, что несет с собой большую вероятность, тем более, что нравственный тезис, — даже помимо того, что он вероятнее и что только он один имеет для нас смысл, — оказывается вместе с тем единственной утешительной гипотезой, необходимой для того, чтобы была возможна социальная жизнь. И этот минимум религиозной истины, — нравственная вера, о которой мы говорим, — может стать для мыслящего ума неиссякаемым источником религиозного чувства. Эта вера ни в чем не противоречит религиям откровения; более того: она заключает их в себе, как род заключает в себе виды. И кроме того, так как вышеизложенный минимум религиозной веры может удовлетворить только развитые умы, то человек мыслящий будет смотреть на христианские религии, как на религии, союзные его верованиям, сливающиеся с ним по крайней мере в том, что все они отличаются строгой терпимостью к мнениям своих диссидентов. Мы говорим: союзные его верованиям, ибо главная задача всех христианских религий — борьба с животным естеством человеческой природы, т.е. в конечном результате: воспитание воли в интересах преобладания в нас разума над грубой силой эгоистических чувств.

Таким образом, непреодолимая сила доказательств приводит нас к убеждению, что, с помощью времени и пользуясь всеми своими психическими ресурсами, каждый из нас может достигнуть власти над своим «я». А раз эта высокая цель достижима, то, в силу своего первенствующего

значения, она должна стать главной целью наших стремлений. Наше счастье в развитии воли, ибо счастье заключается в том, чтобы уметь взять все хорошее, что могут нам дать приятные мысли и чувства, и преградить доступ в наше сознание болезненным эмоциям и мучительным мыслям, или, по крайней мере, не дать им нами завладеть. Следовательно, наличие счастья предполагает, что человек в высокой степени владеет своим вниманием, а внимание есть высшая степень проявления воли.

Но не одно только счастье находится в зависимости от развития воли: от степени той власти, которую мы успели приобрести над собой, зависит и степень нашей интеллектуальной культуры. Гений есть прежде всего долгое терпение: лучшее, что было сделано в науке и литературе, все то, что делает наибольшую честь человеческому уму, обязано своим существованием отнюдь не выдающейся силе ума, как это обыкновенно думают, а сильной воле, в высокой степени владеющей собой. И вот в каком отношении следует до основания перестроить всю нашу систему среднего и высшего образования. Необходимо упразднить нелепый, исключительный культ памяти, ослабляющий живые силы нации. Необходимо расчистить непроходимые дебри наших программ: надо пройти с топором по этим дремучим лесам, надо впустить в них воздух, свет; придется, может быть, пожертвовать очень хорошими растениями; но что же делать, если они растут слишком тесно и заглушают друг друга. Бессмысленное загромождение памяти надо повсюду заменить активными упражнениями, сознательной работой ума, которая развивала бы суждение, умственную инициативу, способность к самостоятельным выводам. Только воспитание воли создает гениальных людей, ибо все качества высшего порядка, которые обыкновенно приписываются уму, имеют в действительности своим источником энергию и настойчивость воли.

Наше столетие было эпохой борьбы с внешним миром: все силы были направлены на то, чтобы одержать победу в этой борьбе. Это привело к тому, что наши вождедения достигли крайней степени напряженности, и в конечном результате мы чувствуем себя тревожнее и несчастнее прежнего. Причину нетрудно понять: внешние победы отвлекли наше внимание от нашего внутреннего «я»; высокая задача самосовершенствования отодвинулась на задний план: мы забыли о главном — о воспитании воли. По какому-то непонятному ослеплению мы предоставили на волю случая усовершенствование вернейшего орудия нашей умственной силы и нашего счастья.

Да, наконец, помимо всего прочего, и положение социального вопроса вызывает настоящую надобность в радикальной переработке нашей системы воспитания. Если социальный вопрос оказывается неразрешимым, если он грозит такими страшными бедствиями, то это только потому, что наши школы, начиная с элементарных и кончая коллежами, озаботившись воспитанием нравственности, упустили из вида его основание — воспитание воли. Мы предлагаем человеку превосходные правила поведения, не научив его поступать разумно и честно; мы даем эти правила людям ленивым,

распущенным, чувственным, эгоистам, — людям, которые — это правда — часто и желали бы исправиться, но которые, благодаря гибельной теории свободы воли, — теории, парализующей благие намерения, никогда не могли научиться той истине, что нравственная свобода, власть над собой даются не сразу, а должны быть завоеваны долгими усилиями. Никто не говорил им, что при условии применения необходимых для этого средств победа над собой возможна даже там, где борьба кажется безнадежной. Их не учили тактическим приемам, обеспечивающим победу в этой борьбе. Им не внушили горячего желания выступить в поход за великое дело нравственного самоосвобождения, достижения власти над своим «я»; они не знают, как благородно это дело само по себе; не знают и того, как оно богато последствиями для нашего счастья и умственной культуры. Если бы каждый из нас дал себе труд подумать о том, какое это нужное дело и как щедро вознаграждается малейшее наше усилие продвинуть его вперед, — оно заняло бы одно из первых мест в ряду всех наших личных и общественных интересов. Да что я говорю! Не одно из первых, а первое место: мы выдвинули бы его на первый план, как капитальнейшую, настоятельнейшую из наших задач.